

# Валентин Григорьевич Распутин

## Пожар

*Горит село, горит родное...*  
Из народной песни

### 1

И прежде чувствовал Иван Петрович, что силы его на исходе, но никогда еще так: край, да и только. Он поставил машину в гараж, вышел через пустую проходную в улицу, и впервые дорога от гаража до дома, которую он двадцать лет не замечал, как не замечаешь в здоровье собственного дыхания, впервые пустячная эта дорога представилась ему по всей своей дотошной вытянутости, где каждый метр требовал шага и для каждого шага требовалось усилие. Нет, не несли больше ноги, даже и домой не несли.

И предстоящая неделя, последняя рабочая неделя, показалась теперь бесконечной – дольше жизни. Нельзя было вообразить, как, в каких потугах можно миновать ее, эту неделю, и уж совсем не поддавалось ни взгляду, ни мысли то существование, которое могло начаться вслед за нею. Там было что-то чужое, запретное – заслуженное, но и ненужное, и уж не дальше и не видимей самой смерти представлялось оно в эти горькие минуты.

И с чего так устал? Не надрывался сегодня, обошлось даже и без нервотрепки, без крика. Просто край открылся, край – дальше некуда. Еще вчера что-то оставалось наперед, сегодня кончилось. Как завтра подыматься, как заводить опять и выезжать – неизвестно. Но оно и в завтрашний день верилось с трудом, и какое-то недоброе удовольствие чувствовалось в том, что не верилось, пусть бы долго-долго, без меры и порядка ночь, чтоб одним отдохнуть, другим опаматоваться, третьим протрезветь... А там – новый свет и выздоровление. Вот бы хорошо.

Вечер был мякотный, тихий... Как растеплило днем, так и не поджало и вроде не собиралось поджимать. Мокрый снег и по твердой дороге продавливался под ногами, оставляя глубокие следы; продолжали булькать, скатываясь под уклон, ручейки. В загустевших чистой синью бархатных сумерках все кругом в это весеннее половодье казалось затопленным, плавающим беспорядочно в мокрени, и только Ангара, где снег был белее и чище, походила издали на твердый берег.

Иван Петрович добрался наконец до дому, не помня, останавливался, заговаривал с кем по дороге или нет, без обычной боли, – когда то ли обрывалась, то ли восставала душа, – прошел мимо разоренного палисадника перед избой и прикрыл за собой калитку. С заднего двора, от стайки, слышался голос Алены, ласково внушающий что-то месячной телочке. Иван Петрович скинул в сенцах грязные сапоги, заставил себя умыться и не выдержал, упал на лежанку в прихожей возле большого теплого бока русской печи. «Вот тут теперь и место мое», – подумал он, прислушиваясь, не идет ли Алена, и страдая оттого, что придется подниматься на ужин. Алена не отстанет, пока не накормит. А так не хотелось подниматься! Ничего не хотелось. Как в могиле.

Вошла Алена, удивилась, что он валяется, и забеспокоилась, не захворал ли. Нет, не захворал. Устал. Она, рассказывая что-то, во что он не вслушивался, принялась собирать на ужин. Иван Петрович попросил отсрочки. Он лежал и вяло и беспричинно, будто с чужой мысли, мусолил в себе непонятно чем соединившиеся слова «март» и «смерть». Было в них что-то общее и кроме звучания. Нет, надо одолеть март, из последних сил перемочь эту последнюю неделю.

Тут и настигли Ивана Петровича крики:

– Пожар! Склады горят!

До того было муторно и угарно на душе у Ивана Петровича, что почудилось, будто крики идут из него. Но подскочила Алена:

– Ты слышишь, Иван? Слышишь?! Ах ты! А ты и не поел.

## 2

Орсовские склады располагались буквой «Г», длинный конец которой тянулся вдоль Ангары, или, как теперь правильной говорят, вдоль воды, а короткий выходил с правой стороны в Нижнюю улицу, – словно эта увесистая буква не стояла, а лежала, если смотреть на нее сверху из поселка. Две другие стороны были, разумеется, обнесены глухим забором. В этот товарный острог вело с улицы два пути: широкие въездные ворота для машин и рядом проходная для полномочных людей. Справа от ворот, ближе к складам, стоял аккуратно встроенный и наполовину выходящий из линии забора, весело глядящий в улицу зеленой краской и большими окнами магазин с одним крыльцом на две половины – на продовольственную и промтоварную.

Нижняя улица и вправо и влево от складов застроена была густо: людей всегда тянет ближе к воде. И серьезный огонь, стало быть, мог пойти гулять по избам и в ту и в другую сторону, мог перекинуться и на верхний порядок. Почему-то об этом прежде всего подумал Иван Петрович, выскакивая из дому, а не о том, как отстоять склады. В таких случаях раньше прикидывается самое худшее, и уж потом и мысль, и дело начинают укорачивать размеры возможной беды.

С крыльца Иван Петрович кинул взгляд в сторону складов и не увидел огня. Но крики, которые слышались теперь отовсюду, доносились оттуда отчаянней и серьезней. Чтобы спрямить дорогу, Иван Петрович бросился через огород и там, выскочив на открытое место, убедился: горит. Мутное прерывистое зарево извивалось сбоку и словно бы далеко вправо от складов; Ивану Петровичу на миг показалось, что горят сухие огородные прясла и банька, стоящая на задах, но в ту же минуту зарево выпрямилось и выстрелило вверх, осветив под собой складские постройки. Снова послышались крики и треск отдираемого дерева. Иван Петрович опомнился: и что же, куда он с пустыми руками? Он бегом повернул назад, крича на ходу Алене, но ее уже не было, она, бросив избу, умчалась. Иван Петрович подхватил с поленицы топор и заметался по ограде, не помня, где может быть багор, и не вспомнил, перехваченный другой мыслью: что надо бы закрыть избу. Тут заплясали на стене всполохи огня, заторопили, и Иван Петрович, потеряв всякую память, кинулся тем же путем обратно.

На бегу он успел отметить, что зарево сдвинулось ближе к улице. История, значит, выходила серьезная. И столь серьезного пожара, с тех пор как стоит поселок еще не бывало.

Иван Петрович обежал забор и от широких, распахнутых сейчас настежь ворот медленно пошел внутрь двора, осматриваясь, что происходит.

## 3

Загорелось, по всему судя, с угла или где-то возле угла, от которого склады расходились на стороны: продовольственные – в длинный конец и промышленные – в короткий. И те и другие стояли каждая сторона под одной собственной связью. И построено было так, и занялось в таком месте, чтобы, загоревшись, сгореть без остатка. Что до постройки, до того, чтоб с самого начала подумать о возможности огня, – русский человек и всегда-то умен был задним умом, и всегда-то устраивался он так, чтоб удобно было жить и пользоваться, а не как способней и легче уберечься и спастись. А тут, когда ставился поселок наскоро, и тем более много не размышляли: спасаясь от воды, кто думает об огне? Но что касается угла, где загорелось, здесь кто-то или, уж верно, злой случай, если не кто-то, умен был умом далеко не задним.

Сразу на две стороны и запластало. В продовольственный край огонь пошел по крыше, да так скоро и с таким треском, будто там поверху насыпан был порох. Этот край не успели закрыть шифером, который привезли уже по осени и сложили вдоль забора, где он лежал и теперь. А промышленный край стоял под шифером уже года два – одно дело, когда мочит

ящички с банками или какие-нибудь там галеты-конфеты, и совсем другое – если под дождь попадут те же японские тряпки, за которыми в эти места приезжают аж из Иркутска и которые имеют какую-то особую цену еще и помимо денег. Но не шифер, конечно, помешал огню и в эту сторону кинуться по крыше, а что-то иное. Тут самое пекло было внутри крайнего склада, отсюда, на здравый взгляд, и могла начаться вся история.

Под шифером же стоял еще один склад – дальний в продовольственном ряду возле забора, тот, в котором держали муку и крупы.

Когда Иван Петрович, как-то кособоко, зигзагами подвигаясь, не зная, куда кинуться, шел по озаренному двору, только в двух местах начали сколачиваться группы: одна скатывала с подтоварника близ правого огня мотоциклы, вторая, мужиков из четырех или пяти, в другом конце разбирала на середине длинного порядка крышу – чтобы прервать верховой огонь. Их уже припекало близким жаром – мужики яростно кричали и яростно отдирали и стаскивали на землю черные от времени, ломающиеся тесины. Иван Петрович вспомнил про топор в руках – с топором к ним ему и следовало на подмогу – и, подбежав, заплясал внизу, отскакивая от обрывающихся досок и не догадываясь, как, с какого боку взбираться наверх. Совсем отказала ему голова, совсем ничего не шло на ум. И только когда увидел он, как кто-то, широко расставляя на два ската ноги, торопливо шагает по крыше от левого забора – туда и побежал, уже и не ругая себя словами, тут не до слов было, а словно бы выдыхаемым отчаянием кляня и опаяя, под стать общему жару, себя за бестолковость. А ведь давно ли мужик как мужик был – одна шкура от мужика осталась.

Там, наверху, командовал Афоня Бронников. Иван Петрович, подбегая, услышал его голос, приказывающий кому-то спуститься поискать лом или, на худой конец, любую железяку под выдергу. И как-то легче сразу стало на душе у Ивана Петровича: хорошо, что Афоня здесь. Тут же был и еще один надежный человек – тракторист Семен Кольцов, мужик, правда, приезжий, но Ивану Петровичу приходилось с ним вместе работать, и он знал: человек надежный.

Афоня, увидев топор в руках у Ивана Петровича, обрадовался:

– Ну вот, хоть один умный человек нашелся! А то на пожар бегут как за стол – с пустыми руками.

Он поставил Ивана Петровича на край, выходящий во двор, и тот, недолго присматриваясь, принялся отбивать доски. С другого конца ската, от конька, стоя на чурке, соскакивая всякий раз с нее и передвигая колотушкой, как кувалдой, бил споднизу в крышу сам Афоня, посередине, и тоже топором, орудовал Семен Кольцов. Он успевал и здесь, и на другой стороне ската, обращенного к Ангаре, и, обычно малоразговорчивый, сдержанный, войдя в раж, круша и кроша доски и слева и справа, что-то дико и беспрестанно кричал. Как ни занят, как ни употреблен был в деле Иван Петрович, он успел подумать, что так вот, вынося, выкрикивая себя из себя, может человек только бросаясь в атаку, бросаясь убивать или вынужденный разрушать, как теперь они, и что не придет же человеку в голову ором орать по-звериному, когда он, к примеру, сеет хлеб или косит траву для скота. А мы еще считаем века, которые миновали от первобытности; века-то миновали, а в душе она совсем рядом.

Когда Иван Петрович подскочил, раскрыто было до него метра на четыре. Вместе с ним стали подвигаться быстрее – и успели: огонь, скорым тропинчатым жором пробежавший по внутреннему скату, запнулся о пустоту, вымахнул вверх, вынудив их от крутого близкого жара присесть, но перекинуться через провал он уже не смог и развернулся и пошел добирать оставшееся в спешке позади сухое и податливое тонье. Задымилась стропила, но не вспыхнули, а там, где пробовали вспыхнуть, накинута и забил телогрейкой Афоня.

И еще раз убедился Иван Петрович: отчаянная душа этот Афоня, свой, из старой дозатопной деревни парень, теперь уже не парень давно – мужик.

Снова принялись за дело, чаще и опасливей оглядываясь назад. Вернулся посланный за ломом парень и принес вместо лома новость: выкатили обгоревший «Урал». Мотоцикл «Урал» с коляской, за которым в леспромхозе гоняются больше, чем за «Жигулями». Парень

был полужнакомый, теперь их много, понаехавших с разных сторон и поживших уже немало, но так и не ставших знакомыми. Возмущаясь, он вскрикивал:

– Ведь был же он, был, «Урал»-то! Для кого вот он был? Для кого его прятали?! Я у Качаева недавно спрашивал. Нету – говорит. А он уж тут стоял!

Афоня понужнул его:

– Ты лом искал – или что?!

– Нету. Ничего нету, – закричал парень. – Вы поглядите: бабы с ведрами понабежали, а водовозку найти не могут. С Ангары на коромысле таскают. На такой ад – на коромысле! Да это ж все одно, что встать в ряд и чихать на него. Ему это все одно.

И парень криком стал рассказывать, как он, прибежав одним из первых, пробовал пользоваться огнетушителями:

– Его ударишь, как надо, а из него один пшик. Пшик – и все. Ни пены, ни гангрены. Они то ли высохли, то ли выдохлись.

Он кричал из-за спин: Афоня заставил его держать позади все той же телогрейкой оборону. От этого прерывистого, прыгающего голоса среди этого без роздыху и разгиба дела было жутковато. Ивану Петровичу казалось, что он звучит и рвется не из человека рядом, давящегося дымом и жаром, а из самих стен. И после, в течение долгого и горячего вечера, перешедшего потом в ночь, когда слышал Иван Петрович голоса, что-то кричащие и сообщающие, чего-то требующие, все чудилось ему, что это стены, земля, небо и берега звучат человеческими словами – чтобы понятно было людям.

Выбив и столкнув вниз последнюю тесину, Иван Петрович оглянулся и огляделся. Пламя позади поднималось высоко, жарко, освещая двор и широкими взмахами отблесков прыгая по крышам ближних домов. По двору молча и ошалело носились ребятишки, у промтоварных складов метались и вскрикивали неузнаваемо озаренные, точно сквозящие фигуры, выплясывающие возле огня какой-то стройный танец. Там огонь тем был страшен, что он выфукивал из-под крыши длинными яркими языками, заставляя людей, и правда, как в танце, отступать и снова наступать: «А мы просо сеяли, сеяли... А мы просо вытопчем, вытопчем».

Но набегало уже и начальство. Рядом с начальником участка посреди двора размахивал руками и все тыкал ими куда-то в сторону поселка главный инженер леспромхоза Козельцов. Борис Тимофеевич, слушая и не слушая его, подавал кому-то знаки, которые могли означать только одно: еще, еще... И вдруг, увидев прущий во двор трактор, кинулся ему навстречу.

Народу было густо, сбежался едва не весь поселок, но не нашлось, похоже, пока никого, кто сумел бы организовать его в одну разумную твердую силу, способную остановить огонь.

Избы и дома поселка, далеко осиянные заревом, по которым оно ходило с пугающим смотром, боязливо вжимались в землю. Иван Петрович, примериваясь, далеко ли, отыскал глазами крышу своей избенки и вспомнил: багор, который мог бы здесь пригодиться, лежит на сенцах, он сам два дня назад, когда вытаял снег, затолкал его туда.

## 4

Неуютный и неопрятный, и не городского и не деревенского, а бивуачного типа был этот поселок, словно кочевали с места на место, остановились переждать непогоду и отдохнуть, да так и застряли. Но застряли в ожидании когда же последует команда двигаться дальше, и потому – не пуская глубоко корни, не охорашиваясь и не обустриваясь с прицелом на детей и внуков, а лишь бы лето перелетовать, а потом и зиму перезимовать. Дети между тем рождались, вырастали и сами к этой поре заводили детей, рядом с живым становищем разрослось и другое, в которое откочевали навеки, а это – все как остановка, все как временное пристанище, откуда не сегодня завтра сниматься. И, слыша по ночам работу электростанции, круглосуточно постукивающей машины, чудилось Ивану Петровичу, что это поселок, не глуша мотора, держит себя в постоянной готовности.

В поссовете висела схема поселка: прямые улицы, детсад, школа, почта, контора леспромхоза и контора лесхоза, клуб, магазины, гараж, водокачка, пекарня – все, что полагается для нормальной жизни, все, как у людей. Улицы действительно были прямые и широкие, в свое время линию, по которой выстраивались избы, соблюдали строго. Но в том и остался весь порядок: эти широкие не по-деревенски улицы разбиты были тяжелой техникой до какого-то неземного беспорядка, летом лесовозы и трактора намешивали на них в ненастье грязь до черно-сметанной пены, которая тяжелыми волнами расходилась на стороны и волнами потом засыхала, превращаясь в каменные гряды, а для стариков – в неодолимые горы. Каждый год поссовет собирал по рублю со двора на тротуары, каждый год их настилали, но наступала весна, когда надо подвозить дрова, и от тротуаров, по которым волочили и на которые накатывали кряжи, оставались одни щепки. За лето наготовить новые не удосуживались, летом всем не до того, «тротуарная» бригада выходила под зиму, в девственно новом и редко тронутым чьим шагом виде лежали они три-четыре месяца под снегом до февраля, до марта – и опять бессмысленно гибли под гусеницами тракторов и тяжестью неразделанного леса. А часто на них, на остатках этих тротуарчиков в три доски, его и разделявали – и пилили, и кололи. И никакие ни указы, ни наказания не помогали.

И голо, вызывающе открыто, слепо и стыло стоял поселок: редко в каком палисаднике теплила душу и глаз березка или рябинка. Те же самые люди, которые в своих старых деревнях, откуда они сюда съехались, и жизни не могли представить себе без зелени под окнами, здесь и палисадники не выставляли. И улица ревела и смотрела в стекла без всякой запинки. И тоже никакие постановления об озеленении толку не давали. Или уж верно: вырубая каждый год сотни гектаров тайги, распахивая налево и направо огромные просторы, не с руки и не с души прикрываться кустом черемухи от сквозного ветра и сквозного вида. Чем живем...

Одно слово: леспромхоз – промышленные заготовки леса. Этим многое из беспорядка и неурядства в устройстве и объяснялось. Лес вырубать – не хлеб сеять, когда одни и те же работы и заботы из сезона в сезон повторяются, и сколько ни живи, все будет для хлебоборобного дела мало. А лес выбрали – до нового десятилетия и десятилетия лет. Выбирают же его при нынешней технике в годы. А потом что? А потом собирайся и кочуй. Оставив домишки, стайки и баньки, оставив могилы с отцами и матерями и собственные прожитые лета, на лесовозах и тракторах туда, где он еще остался. А там начинай все сызнова. Проплывая летом по воде и проезжая зимой по льду мимо Березовки, Иван Петрович всякий раз с невольной тоской и растерянностью смотрел в ее сторону, на заколоченные и оставленные избы: стоял вот так же леспромхоз, отработал и ушел – и ни одной живой души в покинутом поселке, лишь осатаневшие туристы, пуская дым в двери, разжигают в домах костры.

Та же судьба рано или поздно ждала и их. Ее, как могли, оттягивали, но не бесконечно же... Свою древесину – со своих наделов они сняли еще семь лет назад. Отвели участок за Ангарой. Через пять лет, что только можно было, выбрали и там. После этого вплотную встал вопрос: быть или не быть поселку? Решали в районе, в области, в управлении и вырешили – быть. Снова пошли по своим старым наделам, по вырубкам, но если прежде брали только деловую древесину, только сосну и лиственницу (было время – травили березу и осину ядохимикатами, чтоб не засоряли леса), то теперь вычищали под гребенку. И техника пошла такая, что никакого подростка после себя не оставит. Тот же самовал, чтобы подобраться к кубатуристкой лесине, вытопчет и выдавит вокруг все подчистую.

И этой работы «под гребенку» хватит года на три, на четыре. А дальше? А дальше, говорят, как на отхожий промысел в старину, будут уезжать бригады за десятки километров на долгие смены и, отработав, навеваться домой на отдых. Производственную и домашнюю жизнь разделят на вахты: неделю ты принадлежишь леспромхозу и неделю – семье. Строго по графику. Никаких взаимопроникновений, как ныне, одной жизни в другую.

И быть тому.

Да и как не быть, если другого дела здесь нет. Поля и луга, которыми когда-то жил народ, со строительством гидростанции затопили – и остались леса.

И вот на схеме в поссовете клуб, а клуб этот уже двадцать лет размещается в общественной бане, вывезенной из одного из старых поселков. Надо бы строить новый, но как строить, если наперед до самого последнего времени ничего не было видно. На схеме – детсад, а он не действует: неизвестно было, стоит или не стоит его ремонтировать. И стало известно – не торопятся. За эти планы никто ни с кого не спрашивает.

И как тут выглядеть поселку красивым – да еще в зарево пожара?!

## 5

Иван Петрович спрыгнул вниз и побежал к тому месту, где он только что видел начальника участка. С Борисом Тимофеичем пять дней назад они разругались вдрызг, когда начальник участка отказался подписывать его заявление об увольнении, но Иван Петрович знал, что если и может кто сделать тут теперь что-то, так это лишь он, начальник участка. Ни главный инженер, взятый полгода назад из соседнего леспромхоза с должности инженера по технике безопасности, ни директор леспромхоза, окажись он здесь (но его не было, он уехал на совещание), ни его заместители – никто, кроме Бориса Тимофеича, иссволовичшегося на этой работенке, горячего пожилого человека, считающего оставшиеся до пенсии дни. Мало с кем жил он в ладах, как и с ним мало кто ладил, бегал злой, мог без разбору накричать, без разбору же мог похвалить кого попадая, но все это было в нем как дымовая завеса, которая сбивала с толку лишь новичков, не знающих хорошо Бориса Тимофеича. А кто знал, тот на минутные несправедливости и крики его не очень обращал внимание, помня, что Борис Тимофеич Водников – мужик свой, внутри себя твердо разбирающийся, кто есть кто и что есть почему, и дело свое по возможности правящий как следует. С первого дня, только построился поселок, был он, не прибавляя и не убавляя в должности, начальником участка, и уже одно это о нем, человеке, далеко не высшего образования, говорит, что без него обойтись не могли. А управляться с центральным участком, на глазах леспромхозовского руководства, которое во все встречает и ни в чем себе не отказывает, ох как непросто!...

Иван Петрович видел, что, завернув трактор с нетрезвым трактористом, Борис Тимофеич пошел к куче посреди двора, куда стаскивали спасенное от огня добро из складов. Но теперь его там не было. Иван Петрович тупо смотрел на кучу: широко разбросанные валенки, словно второпях поскидывали их те, кто прибежал на пожар, школьные портфели и связанная тюками школьная форма, шерстяные платки, ватные брюки, коробки с чем-то, чуть поодаль – наваленные друг на друга мотоциклы «Ява» и действительно «Урал» с обгоревшей люлькой. Да, спросят мужики с начальника ОРСа за этот «Урал», крику будет. Что вообще будет с начальником ОРСа после пожара? И, ничуть не сомневаясь, Иван Петрович вскользь усмехнулся своей наивности: выкрутится. Эти нигде не пропадут, им любое море по колено.

– Иван! Иван! – услышал он вдруг голос Алены. Она подбежала с коробками в охапке, подбежала бегом, но коробки опустила на землю осторожно, выбирая, где почище и посуше. – Иван, это че ж делается-то, а?! – голос ее был возбужден и поднят до какой-то запальчивой веселости, неестественно округленные, ошалевшие глаза казались дикими. – Этак все сгорит! А там чего только нет! Мы почему, Иван, такие-то?!

И, не дожидаясь ответа, он и не нужен ей был, развернулась и, мелконько, немолодо переваливаясь с боку на бок, словно соступаясь с каждого шага и на каждом следующем шаге быстро подхватываясь, заторопилась обратно. Иван Петрович с минутным вниманием посмотрел ей вслед, но настолько все смешалось в голове, настолько шарики зашли в нем за ролики, что он чуть было не подумал: «Кто это? знакомая какая-то!» – но успел оборвать себя, заставил себя узнать Алену, заметить, что не надо бы бабе носиться как угорелой, и тут же забыл о ней.

Он увидел Бориса Тимофеича. Но прежде услышал, как тот кричит, и по крику отыскал его в освещенной и странно, почти неподвижно застывшей толпе возле первого от угла продовольственного склада. К подскакивающему то и дело голосу начальника привыкли, но

это был крик сумасшедший и потому неразборчивый. По ответу, отчетливому, хоть и тоже на парах – всех разогрел огонь, – Иван Петрович понял, что перед начальником Валя-кладовщица.

– Не буду! – запальчиво отвечала она. – Тушите. А открывать не буду.

– Сгори-и-ит! – мать-перемать.

– Тушите. Я маленькая, что ли, не вижу, что ли, как тащат у Клавки! Все тащат. А у меня там больше чем на сто тысяч. Я где их потом брать буду?! Где?! Где?!

– Сгори-ит! – надрывался начальник.

– Тушите. А открывать, чтоб растащили, я не обязана. Тушите.

Она зарыдала.

Иван Петрович кинулся было к начальнику, но тот сам повернул к нему. Не к нему, а к вороху из промтоварных складов, возле которого по-прежнему кружил Иван Петрович. За начальником, предчувствуя приказание, держалось несколько фигур из архаровцев, как называли в поселке бригаду оргнабора. И верно, не дойдя до вороха шагов пять, Борис Тимофеич крикнул, не оборачиваясь, зная, что его услышат и поймут:

– Ломайте!

Архаровцы кинулись обратно: эта работенка была по ним.

– Где Качаев? – в сторону Ивана Петровича закричал Водников. – Какого черта-дьявола?! – мать-перемать. – Это его склады. Где его носит?!

Качаев – начальник ОРСа. Борис Тимофеич лучше любого другого знал, что Качаев два дня назад вместе с директором леспромхоза уехал в город на очередное заседание. Да, растерялся и он, Борис Тимофеич, иначе не кидался бы с горлом да с кулаками на тень. И растеряешься, себя не сыщешь, не то что Качаева: такого еще не бывало.

И, взглянув на его черное и сухое, как обожженное, лицо с сильно обострившимся носом и вжатыми внутрь щеками, Иван Петрович напрочь забыл, зачем ему нужен был начальник участка, для чего он его разыскивал, и сказал то, что требовалось сейчас прежде всего:

– Ты, Тимофеич, поставь дядю Мишу Хампо в воротах. И сторож пускай встанет, это его дело. Но Хампо обязательно. Он здесь. Я его только что вон там, справа, видал.

Водников кинулся в ту сторону, куда показал Иван Петрович, даже не обернувшись к нему, даже и не поняв, быть может, что действует он по совету, а не по собственному решению. Иван Петрович видел, как он отыскал Хампо и, на ходу объясняя, что от того требуется, торопливо повел его к воротам. Дядя Миша Хампо с высоким запрокидом и низким поклоном размашисто закивал в ответ крупной седой головой, уже вглядываясь в толпу возле огня и отмечая людей, за которыми потребуются особый надзор. Конечно, там дядя Миша будет на своем месте, на Хампо положиться можно. Валя-кладовщица знает, что говорит. А сейчас, когда откроют продовольственные склады...

И точно – со скрежетом загремели выдираемые засовы, отчаянно запричитала Валя, совершенно обезумевшая от свалившейся беды, не видящая спасения ни в чем – ни в том, разумеется, чтобы ее хозяйство сгорело под замками, ни в том, чтобы оно было вынесено. Открыли одни двери, другие, с третьих, где засов не поддавался, сбивали огромный замок топором. Архаровцы действовали быстро и ловко – будто всю жизнь только тем и занимались, что ломали запоры. Иван Петрович, подбегая, столкнулся в распахнутых дверях крайнего правого помещения с одним из них, с Сашкой Девятым (Девятый фамилия, а не прозвище, у архаровцев, у которых все вверх ногами, и людские фамилии через одну), и Сашка, веселый, вдохновенно распаренный, хлопнул его с хитрым подвертом по плечу, так что Ивана Петровича на ходу развернуло к нему, и лихо, почти дружелюбно прокричал прямо в лицо:

– Не сюда. Не сюда, гражданин законник. Сгоришь – кто нам будет права качать?!

Они, познавшие режимную жизнь или подражавшие тем, кто познал ее, звали его гражданином законником. Он и к этому привык. Время, что ли, такое: ко всякому приходится привыкать, о чем еще недавно нельзя было и помыслить.

К тому, например, что и сама земля уходит из-под ног. Как это в буквальном виде случилось у них и с ними.

## 6

Двадцать лет сошло, как переехали, двадцать да еще и с гаком, должно быть, сама земля успела накрениться в ту сторону, куда их протянуло, но и дня единого не проходило, чтобы не вспоминал Иван Петрович свою старую деревню. Вспоминал всякий раз, когда вольно или невольно бросал взгляд на воду, под которой осталось нагретое деревней за три столетия место. Вспоминал и мимолетно, кивнув, как поздоровавшись, на ходу в ее сторону, и в тяжелых и частых раздумьях вспоминал, пытаясь в сравнение понять, что это, что за жизнь была там и к чему пришли здесь.

Он и фамилию носил ту же, что была частью деревни и выносом из нее, Егоров. Егоров из Егоровки. Вернее, Егоров в Егоровке. Из деревни своей он выезжал надолго только однажды – в войну. Два года воевал и год еще после победы по холостяцкому своему положению держал оборону в той же Германии, куда завезла его в танке Т-34 судьба. Воротился домой осенью 46-го. До сих пор живо в нем чувство, с каким увидел он тогда после разлуки свою Егоровку: господи, да она же не стоит, она лежит! – до того невзрачной и обделенной она показалась. На что только не нагляделся за войну – и на несчастья, и на бедность, и на поруху, все кругом вопило от страданий и молило о помощи, много что было переверочено и обезображено, но даже в самых пугающих разрушениях просматривалась надежда: дайте время, дайте руки – оживет и отстроится, человек не потерпит разора. Здесь же все оставалось и словно навсегда остановилось без перемен. Ничего не убавилось, но ничего и не прибавилось, и как бы даже не положено, чтоб прибавлялось. Так оно впоследствии и вышло: и еще пятнадцать лет прожили после войны, но как была скроена Егоровка о сорока дворах, с тем и осталась, и ни баньки, ни стайки к разношенному больше не подшилось. Правда, и о затоплении знали загодя, а тут уж не до новостроек, тут уж ноги в руки и гляди, куда править, – то ли со своей избенкой на гору, где брали грибы, то ли вслед за дочерью или сыном в заманчивый город.

Тогда, после демобилизации, бравый сержант в шлеме танкиста, отмеченный наградами и повидавший виды, отгуляв встречу, помнится, затосковал. Родина-то родина, что и говорить, тут каждый камень еще до твоего рождения предчувствовал и ждал тебя и тут каждая травка по новой весне несет тебе что-то в остережение или поддержку от былых времен, тут везде и во всем за тобой тихий родовой догляд. Но как представишь: все то же, все то же, все то же... как представишь, да еще на первых порах, и будто пришел с войны помирать своей смертью.

Но в раздумьях и неуверенности он замешкался, а это значило сделать выбор в пользу Егоровки. Вскоре подоспел голод, спастись от которого легче было все-таки здесь, возле Ангары и тайги, вскоре разглядел он в соседней деревне Алену, которая так неумело и бесхитростно тарачила на него свои и без того огромные зенки и так испугалась, когда он впервые взял ее под руку, что он не стал больше никого искать. Вскоре получил колхоз новую машину, за которую и посадить оказалось некого, кроме него, вскоре в тяжелой и долгой немочи слегла мать, и уж сама судьбина встала поперек его выездной дороги. И пошло-поехало как у всех: дети, работа, медленный и осторожный сворот на жизнь полегче и повеселей.

Иван Петрович не то чтобы свыкся, но словно бы от лукавого, набранного на стороне и тянувшего, тянувшего куда-то под неясное обещание, словно бы освободелся от него и вздохнул с облегчением. Везде хорошо, где нас нет. В жизни, быть может, самое важное: каждому на своем заданном месте держаться правильного направления, а не кривить без пути и не завязывать его в узлы неопределенно-искательными перебежками.

Так он считал. Он и теперь так считает, но что делать, если приходится на старости лет противу собственных убеждений и желаний все-таки приготовляться к отъезду. И

«приходится» – не ради сильного словца, а так оно и есть.

Да, вот еще. Лукавый, от которого он в свою пору освободился, все же не ушел одинешенек из дому, а увлек за собой Гошку, младшего брата. Укатил Гошка на стройку И с больших денег вконец там спился.

Кто бы подсказал вовремя, где они, пути наши?!

Иван Петрович остался в Егоровке, ужился и успокоился, нисколько не страдая от глухости, которая с годами помаленьку просветлялась: провели электричество, чаще стали притыкаться к егоровскому берегу белые парходы, появился в восьми километрах выше по Ангаре, как навис над Егоровкой, сманивая молодежь, богатый леспромхоз – и тут жизнь, как и везде, из целого числа превращалась в дробь с числителем и знаменателем, где непросто разобраться, что над чертой и что под чертой, и тут бы потихоньку раскопчегарилось, раз такое одно на всех нынче время... И когда грянула весть о затоплении, когда подошел срок переезжать... признаться, Иван Петрович расставался с Егоровкой тяжело, не без этого, как всякий человек, имеющий память и сердце, и в то же время с тайным удовлетворением, что не он решал, а за него решилось, перевозил и ставил на новом месте он свою избу: там было хорошо, а здесь с годами должно быть лучше. Своими силёнками Егоровке на ноги, похоже, никогда бы не подняться.

Новый поселок, в который свезли шесть таких же, как Егоровка, горемык и где сразу утвердился леспромхоз, назвали по обширным лесам, а на теперешний взгляд, по сырью – Сосновкой.

## 7

Уж если срывать запоры, то срывать следовало раньше. Когда Иван Петрович заскочил в крайний справа продовольственный склад, там полыхало вовсю. Над щелястым потолком гудело страшно, одним мощным гудом, вобравшим в себя все подголоски: несколько потолочных плах возле угловой стены с одного конца сорвало, и в проем бешеными выхлопами обрывался огонь. Угловая стена горела сверху донизу, подступиться туда было невозможно, дымились и остальные стены; сквозь щели в потолке там, где он еще держался, огонь выметывался полосами и с треском искрил. Все накалилось донельзя и все могло вспыхнуть одним разом. Сквозь угар пахло жареным мясом и чем-то горьким и едким еще, чем-то из съестного, что не требовало такого разогрева.

Прежде Иван Петрович не бывал внутри и теперь остатками годного для удивления чувства успел поразиться изобилию. На полу немалой горой были навалены пельмени, рядом и тоже на грязном полу в грубых веревочных опоясках валялись толстые, уродливо раздутые колбасные круги, уже разметанные ворвавшимися людьми; в тяжелых кубах на невысоком помосте у задней стены плавилось, морща и втягивая в себя оберточную бумагу, масло, там же в нагроможденных друг на друга ящиках выглядывала красная рыба. Что-то было в деревянных бочках, что-то в картонных коробках, что-то в бумажных мешках. Было, значит, все-таки было! – и куда все это уходило? Неужели только в котлопункты на лесосеках? Расскажите кому-нибудь другому – будто не едал он на этих котлопунктах, не знает, что там водится и что видится лишь во сне! И усмехнулся Иван Петрович или подтолкнул себя обожженной мыслью, что надо в этом месте усмехнуться над своим неразумием: а машины из райцентра, оттуда, отсюда, каждый божий день подворачивающие к ОРСу и извлекающие из конторы Качаева! Зря, что ли, хлопочут об общих, централизованных складах для всех трех леспромхозов, которые должны находиться, конечно, в райцентре! И кивнул или подумал, что надо кивнуть, Иван Петрович: теперь, если сгорят эти, самые большие в самом большом леспромхозе, легче легкого будет добиться своего.

Сколько же на свете неробей и причиндалов! И как получилось, что сдались мы на их милость, как получилось?!

Запахиваясь телогрейкой и приплясывая от жара, Иван Петрович выбрасывал в двери слизисто-скользкие, начинающие скукоживаться круги колбасы. Там, во дворе, кто-то

подхватывал их и куда-то относил, Иван Петрович видел только набегающие и отбегающие ноги в кирзовых сапогах. Рядом тоже были люди, но кто был, он не узнавал; время от времени они натывались друг на друга и отшатывались – жар становился все нестерпимей, огонь по потолку и по стенам проворно подвигался влево, глаза слезились, в горле першило, казалось, горел даже дым, которым приходилось дышать. Что-то сильно, как на сковороде, шипело, что-то по-снарядному взрывалось; оборвалась сверху подгоревшим концом еще одна плаха; закачалась, помахивая огнем, и оборвалась другим. Пора было отступить. Колбасу, кажется, выбросили, ящики с рыбой вытаскали, но, взглянув на помост возле задней стены, где были ящики, Иван Петрович разглядел там масло и кинулся туда, охнув, что не колбасу следовало спасать, а масло. Он подхватил один из осевших кубов, и масло, обжигая руки, поползло, как тесто, у него на животе, стекая всей массой под ноги; он опустил его на пол, снова подхватил, наваливая на грудь и выгибаясь – и вынес, передал кому-то в руки. Руки были в верхонках, и Иван Петрович пожалел, что не догадался прихватить из дому верхонки, – как бы они пригодились! Он снова двинулся внутрь, все так же запахиваясь телогрейкой и выглядывая из-за нее, как из-за щита, направляясь опять к дальней стене, где оставалось масло, но на полдороге кто-то наскочил на него и, то ли прикрываясь им, то ли его прикрывая, поволок обратно. Иван Петрович не сопротивлялся, понимая, что да, хватит.

Этот кто-то на воздухе оказался Сашкой Девятым. Сашка оскалил зубы и прохрипел те же самые слова:

– Сгоришь, гражданин законник!... Ой, сгоришь!...

И оттолкнул Ивана Петровича от себя.

## 8

Никто, похоже, больше не тушил – отступились, а только вытаскивали, что еще можно было вынести. Водовозка с опущенным шлангом, из которого сочилась вода, стояла с работающим мотором возле ворот; ярко озарен был весь двор, и Иван Петрович, как-то сразу увидев лужицу под шлангом, кинулся к ней, чувствуя, что без воды дальше не вытерпит. Он сполоснул лицо, которое засадило еще сильнее, и сделал из ладони несколько глотков, всего два или три глотка, и вода кончилась, в шланговой кишке зафыркало вхолостую, зашипело и смолкло. Он потряс еще кишку, подергал, подставляя руку, – пусто.

Нет, промтоварные склады было не отстоять: огонь там с сытым и мощным гулом дошел полным опоясом до середины и двигался дальше. Шифер на крыше от пекла крошился и стрелял этим крошевом, как стреляют и подпрыгивают орехи на раскаленной сковороде. Побрасывало и головешками. Находиться вблизи было опасно, кто-то из мужиков с криком гнал прочь ребятишек, под замахами рук те отскакивали и, обезумевшие, с вытарашенными глазами, как намагниченные на огонь, тянулись обратно. Иван Петрович высматривал среди мечущихся по двору, продолжающих вытаскивать и перетаскивать фигур, Алену – ее нигде не было. Ворох спасенного добра рос. Добрались до хозяйственного склада, звенели косы, кастрюли, посудная мелочь, бухало листовое железо. Господи, то ли надо спасать, то ли... Или правы люди, что без чайника и сковородки не обойтись, а без холодильника и телевизора можно.

Заскрежетал, ходуном заходил забор между складами и магазином и рухнул ближним звеном внутрь, открыв улицу и трелевочный трактор, который отступал и разворачивался для нового тарана. Это правильно, отметил Иван Петрович, склады не отбить, но магазин отстоять можно, до него от складов порядочно. Возле трактора суетился Козельцов, главный инженер: стало быть, это он сообразил свалить забор, который мог быть дорожкой для огня.

Да, плакали промтоварные склады, плакали японские кофточки и родные сковородки – разве столько в сравнении с вынесенным останется там, в этом пекле?! Но продовольственные склады, попустившись правым, еще и теперь можно бы спасти, будь машина и будь побольше порядка. Но «пожарку», единственную на весь леспромхоз, еще года два назад разнесли на запчасти, она только числится на вооружении...

Иван Петрович все еще осматривался торопливо, все еще хотел отыскать Алену, прежде чем снова нырять в огонь, когда его тронул за плечо дядя Миша Хампо.

– Хампо-о... хампо-о! – с усилием тянул он из себя, показывая левой, здоровой рукой в глубину двора. Там, в левом углу, освещенный заревом сбоку и сзади, изломанно-приподнятый, кажущийся огромным привидением, стоял человек и, как гранаты, метал через забор бутылки. Иван Петрович заторопился к нему, но еще раньше, выскочив откуда-то справа, к этому человеку подоспел Борис Тимофеич, наскочил на него с криком, дернул, едва не сбив с ног, снова рванулся наскочить... Тот, другой, замахнулся бутылкой. Он бы, может, и ударил, всякое в такую минуту могло случиться, если бы не набежавший Иван Петрович, успевший перехватить бутылку. Это был один из архаровцев, один из самых отпетых, которого звали почему-то бабьим именем Соня и с которым Иван Петрович уже схватывался. Соня выдернул из рук Ивана Петровича бутылку, откинул ее в сторону и принятым среди этого брата иноречием нараспев пригрозил, показывая через головы:

– Ох, как жарко гори-ит! Ох, горячо-о! О, больно-о! И вразвалочку зашагал туда, где горело.

– А ты где был? – не нашел ничего лучшего, как накинуться на Ивана Петровича, начальник. – Где вы все, черт бы вас побрал! Куда вы смотрите?!

– В баню ходил, – в тон ему ответил Иван Петрович. – Сходи и ты, ополоснись, а то кидаешься!... Смотрел бы хоть, на кого кидаться!...

Огромная, всходила за горой луна. Выкатываясь из-за леса, она подвигалась вправо, и, как на экране, всплывали в нее и в холодном кипении сгорали в ней верхушки деревьев.

## 9

Теперь, пожалуй, не доискаться, как и с чего произошел сворот на нынешнее раздольное житье-бытье. Но не было же этого поначалу, уже и в новом поселке не было, чтоб люди так разошлись всяк по себе, так отвернулись и отбились от общего и слаженного существования, которое крепилось не вчера придуманными привычками и законами. А вспомнить, не ими ли, не этими ли законами, не этой ли грудью единой спасались и спаслись в старой деревне в войну и в лихие послевоенные годы, когда за десять колосков, не размениваясь и не мелочась, по десять же лет и приговаривали? Когда едва справлялись с налогами, когда у «нерадивых» обрезали огороды, чтоб обрезанное зарастало крапивой, и не позволяли до белых мук покосить на свою коровенку? Когда надо было не только держаться вместе, но вместе и исхитриться, чтоб выстоять? А ведь в деревне тоже всякие люди водились, и кой у кого зудело, поди, донести да навести, соблюсти законность и сослужить верную, запрашиваемую службу. Не без того, чтоб не зудело. Но знал он: в деревне после этого не живать, Егоровка ему этого не простит.

А теперь вот Ивану Петровичу приходится съезжать – и как все переменялось! Можно сказать, перевернулось с ног на голову, и то, за что держались еще недавно всем миром, что было общим написанным законом, твердью земной, превратилось в пережиток, в какую-то ненормальность и чуть ли не в предательство. И Сосновке все едино, ей, быть может, даже спокойней и удобней, если Иван Петрович уедет и перестанет мутить воду. Или наоборот, да, конечно, наоборот: не станет, как выживший из ума старик, помнивший из детства чистую воду, махать руками, чтоб она и поныне оставалась чистой, когда все вокруг замутилось. Уж если зашла речь о воде, то она, как известно, чиста не тогда, когда она действительно чиста, но когда ее хотят видеть чистой. А для этого вольно на глаза какую-нибудь хитрую оптику нацепить.

Нет, не сразу, как переехали, пошло боковым ходом. Конечно, новая работа сказала: валить лес, только валить и валить, не заботясь, останется, вырастет что-нибудь тут после них или нет. Это теперь заставляют на вырубках делать посадки, да и то как заставляют: вроде и обязан, как обязан время от времени думать о смерти, чтоб чище жить, но можно и не думать о ней, жить, и все, а жизнь состоит в том, чтоб рубить. За невыполненный план по

посадкам – пожурят, за план по вырубке – семь шкур сдерут. Вот и повелось и не сменилось с годами, что игрушками этими, лесовосполнением, должен заниматься лесхоз, а у того пять рук на пятнадцать разрядок, и ни одно дело до конца довести он не в силах.

Попервости и строилась каждая деревня в Сосновке своей улицей, и жить собрались теми же общинами, что прежде. Вдовых баб, стариков ставили на ноги по заведенному обычаю всем «колхозом», помогая им переносить избенки и раздирать огороды. По этим огородам торились тропки, чтоб напрямую, не выходя в улицу, бегать друг к другу за всякой надобностью и без надобности, когда высвобождалась минутка для разговоров и чая. И раздавалось на закате солнышка на всю округу: «Дарья-а! Марья-а! Самовар поспел! Наталья-а! Ты к криволуцким не пойдешь?» – на ближнюю, значит, от горы улицу, которую заняла деревня Криволуцкая.

Потом все перемешалось. И не то плохо, что после смертей, свадеб, разделов и торгов одна деревня стала проникать в другую, жизнь невозможна без таких проникновений, а то пошло неладом, что взамен уехавших и унесенных принялись селиться люди легкие, не обзаводящиеся ни хозяйством, ни даже огородишком, знающие одну дорогу – в магазин, и чтоб поесть, и чтоб время от работы до работы скоротать. Сначала от работы до работы, а затем и работу прихватывая, заслоня ее магазином, и чем дальше, тем больше, тем слаще и неудержимей. Работа этого, понятно, не любит – и нелады с ней, с работой, и уж общины другого толка, которых раньше не было и в помине. Водились, конечно, пьянчуги, где они на святой Руси не водились, но чтоб сбиваться в круг, разрастаться в нем в открытую, ничего не боящуюся и не стыдящуюся силу с атаманом и советом, правящим власть, такого нет, не бывало. Это уж наши собственные достижения.

Недавно директор школы Юрий Андреевич, учительствовавший еще в Егоровке, взялся подсчитать, сколько в шести деревнях, слившихся в Сосновку, погибло народу за войну и сколько его сгинуло не своей смертью за последние четыре года. Не своей смертью – это значит пьяная стрельба, поножовщина, утонувшие и замерзшие, задавленные на лесосеках по своему ли, по чужому ли недогляду. И разница вышла небольшая. Иван Петрович ахнул, когда услышал: вот те и мирное время! А ведь знал он обо всех этих случаях, переживал их, всегда что-то меняется и как бы смеркается в мире, когда уходит из жизни знакомый человек, и ослабевают в тебе что-то с его уходом, будь он хоть трижды непутевый, знал он о каждом отдельном случае и сокрушался, но сведенные вместе, в одно число, поставленное рядом с другим числом, оно подействовало на него оглушительно. Несколько дней он ходил сам не свой, пытаясь что-то понять и понимая только, что невозможно понять, ничего невозможно понять из того, что он пытается извлечь из этого страшного равенства. Тут что еще: погибший на фронте взывал к справедливости и добру, оставляя их вместе с душой и воспоминаниями, живущими среди родных, и оставлял для движения и исполнения; сами того не подозревая, мы, быть может, лет двадцать после войны держались этим наследством погибших, их единым заветом, который мы по человеческой своей природе не могли не исполнять. Это свыше нас и нас сильнее. Потратившийся же вот так, ни за понюх табаку, по дурости и слепому отчаянию – дурость, распушенность и отчаяние после себя и оставляет. Смерть – учитель властный, и чью сторону, доброго или худого, она при своем исполнении берет, той стороны прибавляется впятеро.

В первые годы и весь леспромхоз был – один этот участок. Потом открыли второй, потом третий, четвертый, и только по прямой береговой линии протянулось нынешнее порубочное хозяйство на сто с лишним километров. Теперь один участок выбирает в год больше ста тысяч кубов. Подскочил план, все мощней, все хитрей и сноровистей погнал технику, и своим народом стало не управиться. Поехали сезонники, шабашники, кто за лишним рублем, кто за лишним днем, который все равно, как и где прожить, лишь бы быть ему прожитому. Обозначился в последние годы особый сорт людей, не совсем бросовых, не потерянных окончательно, которые в своих бесконечных перемещениях не за деньгами гоняются и выпадающие им деньги тут же с легкостью спускают, а гонимы словно бы сектантским отвержением и безразличием ко всякому делу. Такой ни себе помощи не

принимает, ни другому ее не подаст, процедуру жизни он исполняет в укороте, не имея ни семьи, ни друзей, ни привязанностей, и с тягостью, точно бы отбывая жизнь как наказание. Про такого раньше говорили: ушибленный мешком из-за угла, теперь можно сказать, что он всебятился, принял одиночество как присягу. И что в этих душах делается, кому принадлежат эти души – не распознать.

И вот по веснам, когда надо отправлять спущенный за зиму с гор лес, и по осеням, когда снова надо его срезать и спускать, приливают и отливают, приливают и отливают, не задерживаясь не из-за неудобств каких-то непереносимых, а просто не умея, не понимая, зачем и для чего задерживаться, понукаемые неясной и нестерпимой тревогой. А уезжают – горькая тоска в глазах: куда? зачем? Но уезжают, и оставшиеся вспоминают о них лишь по чудачествам и выкидонам, на которые они мастаки, вроде тех, что один артист зубами поднимал любой стол с закуской, другой делал на водке тюрю и не морщась выхлебывал ее ложкой, третий, пугая работающих на почте девчонок, любил отправлять телеграммы, похожие на шифровки: «Третий день дождь, что делать?» – или: «За ноябрем декабрь, не перепутай» – или: «Не жди меня, но я вернусь». Старая Егоровка за все триста лет допотопного ее существования не изведала и тысячной доли тех чудес и кудес, какие приняла Сосновка за двадцать. И, судя по всему, они не к концу идут.

Это, понятно, самое невинное, самое легкое из того, что можно вспомнить. А можно вспомнить еще, как было с лесничим Андреем Солодовым. Солодов данной ему властью два года назад оштрафовал леспромхоз за высокие, едва не в пояс, пни. По большому снегу, чтоб не расчищать, валили как легче, нарушая нормы, и Андрей, мужик в общем покладистый, после долгих уговариваний и угроз не вытерпел: вот вам, раз человеческого языка не понимаете. В пятницу кассирша поехала за зарплатой и вернулась ни с чем: банк под штраф леспромхозовские деньги арестовал. В субботу Андрей, как обычно, истопил баню, помылся и лег спать, а баня в ночь сгорела. По неосторожности, по недосмотру, надо думать, самого хозяина: топил ведь и мылся, а потом завалился и дрыхнул без задних ног. В понедельник кассирша снова отправилась в банк и снова воротилась с пустой сумкой. Снова было ждать до среды, пока вырешат, где взять деньги. А в среду сказали – до пятницы. В среду у Андрея Солодова потерялась лесхозовская кобыла, единственная на весь поселок трудяга, на которой вспахивали половину огородов и которая в лесном деле была незаменима. Только по весне вытаяли ее косточки в чащобе, рядом валялась догнивающая веревка.

Иван Петрович разговаривал с Андреем, и они сошлись, что без своих тут не обошлось. Смешно было бы грешить только на приезжих. Нет, и свои, с кем бок о бок жито и работано под завязку, научились косо смотреть на всякого, кто по старинке качает права и твердит о совести. И свои грозили Ивану Петровичу, когда, не умея молчать, содравший бы с себя потом семь шкур за молчанку, поднимался он на собрании и вслух объявлял все, что творилось на лесосеках, на нижнем складе, в гараже и магазинах. Говорил то, что знали все и что постепенно становилось обычаем, – и как без нужды и жалости рвут технику в лесу или гоняют ее по пьяному и трезвому делу за десятки километров по собственной надобности, и как среди бела дня тащат с лесопилки, и как по дороге в леспромхоз таинственно исчезают указанные в накладных товары, а вместо них для облегчения торговли сразу появляются деньги, и как в нарушение техники безопасности заставляют трактористов спускаться на неокрепший лед лес, и как... Дошло до того, что сам Борис Тимофеевич наутро после полочки вез втихаря в своей брезентовой сумке на лесосеку пару бутылок, чтоб остановить готовую сорваться бригаду. А они научились принимать это как положенное, как те же три пачки чая, выдаваемых бесплатно профсоюзом.

Иван Петрович иступленно размышлял: свет переворачивается не сразу, не одним махом, а вот так, как у нас: было не положено, не принято, стало положено и принято, было нельзя – стало можно, считалось за позор, за смертный грех – почитается за ловкость и доблесть. И до каких же пор мы будем сдавать то, на чем вечно держались? Откуда, из каких тылов и запасов придет желанная подмога?

– У тебя пошто глаза-то этак повернуты? – гудел Борис Тимофеич, но не было в его

голосе ни нажима, ни вопроса, на который требовался ответ. – Пошто ты все одно к одному? Без плана, видишь, не живем...

Тут-то Иван Петрович и взрывался:

– План, говоришь? План?! Да лучше б мы без него жили!... Лучше б мы другой план завели – не на одни только кубометры, а и на души! Чтоб учитывалось, сколько душ потеряно, к черту-дьяволу перешло, и сколько осталось!... План!... Ты вспомни, как было... ну, пускай хоть пять лет назад...

– А что пять лет назад? – Борис Тимофеич прикидывался непонятливым. Тогда не было ни самосвалов, ни челюстных погрузчиков. КраЗа твоего не было, на который ты по тридцать кубов зараз грузишь.

– Опять двадцать пять! Ты тогда водку на гору за свои деньги не возил за-ради плана. Ты вот что вспомни. Наш план выполнять – дело нехитрое, ему агрономия не нужна.

– Нехитрое? – уж кто-кто, а он, съевший не одну собаку не одной породы на плане, жизнь свою отдавший плану, среди ночи просыпающийся, когда доводилось спать, от страха за план, как чумы, боящийся последних чисел месяца, когда в такой сложной технологии, какая и не снилась пшенице, вызревал план – уже он-то знал, что дело это не только хитрое, но и требующее много чего сверх всякой хитрости. Объяснить все это было нельзя, и он с тайной обидой говорил: – Тебя бы в мою шкуру.

– Не хочу. Мне и в своей тяжко.

Афоня Бронников, егоровский мужик, работающий на трелевочном тракторе, держался другого резона.

– Что ты, Иван Петрович, кипятишься? – с укоризненной улыбкой на широком и твердом кержацком лице увещевал он. – Кому ты что докажешь? Я так считаю: я работаю честно, живу честно, не ворую, не ловчу – и хватит. У кого глаза есть, тот видит, как я живу и как другие живут. Кто куда расположен, туда и пойдет. Наше дело – жить правильно, пример жизнью подавать, а не загонять палкой в свою отару. От палки толку не будет.

– Да ведь опоздали, опоздали с примером-то! Поздно!

– Ничего не поздно.

Но Иван Петрович был устроен по-другому, под ежедневным давлением в нем словно бы сжималась и сжималась какая-то пружина и доходила до такой упругости и закрученности, что выдерживать ее становилось неважко. И Иван Петрович, не однажды дававший зарок молчать, доказавший себе, что молчание это тоже метод действия и убеждения, Иван Петрович опять поднимался и, западая голосом, страшно нервничая и ненавидя себя, начинал говорить, понимая – напрасно.

Еще до архаровцев, сбившихся вокруг Сашки Девятого, еще до них было: пришел утром Иван Петрович в гараж, а на его КраЗе соединительные тормозные шланги к прицефу изрублены. Накось, значит, выкуси, правдоискатель плюшевый. Это ему однажды было сказано: «Что ты, как мишка плюшевый, которому два слова ввинтили: хорошо – нехорошо, хорошо – нехорошо. Ты сам кумекай маленько».

Стало быть, и хорошо – нехорошо. Быть стало, и нехорошо – хорошо. Поневоле зарাপортуешься, заблудишься в двух словах.

## 10

Из первого продовольственного склада огонь вытеснил полностью. Перешел во второй. Хорошо еще, что над ним, над вторым, была сбита крыша, это придержало огонь. Он вжигался от правого и дальнего верхнего угла и через потолочный настил. Когда Иван Петрович в первый раз заскочил сюда, тут тоже было накалено и дымно, но все-таки без огня сносно, помещение изнутри держалось еще о четырех стенах. Здесь оказалось на удивление людно, здесь весело кричали и перекликались, стоял сплошной звон и бряк. Иван Петрович не вдруг разглядел организованную цепочку, по которой передавались ящики с наиходовым товаром – с водкой. В цепочке стояли и свои, и архаровцы. Потоптавшись растерянно и

прихватив один ящик, чтоб не с пустыми руками, Иван Петрович выбежал обратно, уверенный, что этому товару не дадут пропасть и без него. На воздухе его обдало каленым заревом сверху и донеслись откуда-то крики Вали-кладовщицы, требующей и умоляющей вынести растительное масло. Валя кричала, что его, растительного масла, до осени не полагается, выбрали все, и Иван Петрович, повороченный этими словами обратно, с дурной головы не мог припомнить, что теперь – зима или лето.

И выскакивал на одну секунду, а из правого угла уже пробивался огонь.

Пробивался с ревушим полыханьем огонь, еще веселей и отрывистей раздавались голоса из цепочки, густо позвякивали бутылки, но был и еще один повторяющийся звук в этом месиве звуков – будто что-то мелодично выщелкивало или сухо взбулькивало. Взбулькивало или выщелкивало с тоненькими подголосками. Иван Петрович приступом направился к раскаленной стене, откуда они раздавались, и возле ящиков с заграничным вином догадался, что это было: из бутылок выстреливало пробки. До подголосков он не стал доискиваться, решив, что происходят они, вероятней всего, от такого же салюта из посудинок с тройным одеколоном или от чего-нибудь в этом же роде. С некоторых пор тройной одеколон перешел в разряд продовольственных товаров, им сдабривали сухое венгерское или болгарское вино, которое в своем собственном вкусе отвергалось мужиками как чересчур кислое и незабористое.

Иван Петрович искал растительное масло в бутылках, а оно оказалось в железной бочке. Он с трудом, обжигая руки, повалил ее, огромную, с раздутыми боками, побывавшую не в одной переделке, но выкатить не мог, под его усилиями она только раскачивалась. Он заторопился к цепочке и, не вглядываясь и не выбирая, выхватил из нее первое попавшееся звено. Оно оборотилось тем самым парнем, вместе с которым сбивали крышу и который принес наверх известие о найденном мотоцикле «Урал». От парня пахло кипяченой водкой; ничего не понимая, но и не сопротивляясь, он запрыгал вслед за Иваном Петровичем. Вдвоем, где руками, где ногами, они выкатили бочку.

– Там еще одна! Иван Петрович, там еще одна есть! – закричала Валя-кладовщица и кинулась показывать. – Вон там она, вон там!

Иван Петрович придержал Валю и подтолкнул от двери наружу, ей тут с ее материальной заинтересованностью, которая могла оказаться сильнее здравого смысла, делать было нечего. Незачем ей видеть, что тут происходит. Иван Петрович в секунду потерял напарника, с которым выкатывали бочку, тот, конечно, не мешкая встал в строй. Пытаясь отыскать его, Иван Петрович заметил, что по цепи передаются не одни только ящики, но и раскупоренные бутылки, взблескивающие под огнем как электрические фонарики.

– Ходом! Ходом! – начинал один, с маху откидывая соседу ящик, и цепь подхватывала: – Ходом! Ходом!

– Ходом, ходом! – взмывала над запрокинутой головой бутылка. – Ходом! Ходом!

Но и огонь шел ходом: ворвавшись внутрь, он завладел половиной задней стены, перекинулся на потолок, откуда в каком-то своем ритме вымахивал вниз длинными ухающими языками. Все труднее становилось дышать, это было уже не дыхание и не воздух, которым дышат, а быстрое и беспорядочное хватание выгоревшей пустоты. Кто-то, и не разобрать было, мужик или баба, тревожно звал оголенным и рвущимся голосом:

– Петька! Петька! Ты здесь? Ты где?

– Мы твоим Петькой закусили! – крикнули из цепи; и этот голос показался обгоревшим, проволочным, протолкнувшим сквозь жар одни слова.

И опять Иван Петрович уронил бочку с маслом, более аккуратную, чем первая, и, казалось, послушную, опять пытался катить в одиночку. Кто-то помог ему. Уже когда выехали, Валя-кладовщица, встречавшая бочку, запричитала и ударилась в рев: бочка была без пробки. Иван Петрович оглушенно смотрел то на извивающийся из склада след масла, то на Валю, которая убивалась так, будто два-три литра пролитого масла самая большая для нее сегодня потеря.

Ивана Петровича подхватили сбоку – Афоня Бронников. Быстро шагая прочь от огня в левый угол двора и увлекая за собой Ивана Петровича, Афоня объяснял:

– Муку надо убирать, Иван Петрович, пока не поздно. Это все... – он сделал пренебрежительную отмашку назад, где горело. – А без муки останемся... Без муки нельзя.

Из третьего склада ребятишки и бабы выносили банки со сгущенным молоком, коробки с какими-то маленькими, совсем игрушечными, баночками, что-то в аккуратных, перетянутых металлическими лентами, коробках. За третьим складом в крайней к забору и низкой, без подтоварника, постройке и держали муку.

Широкие, как ворота, двери были распахнуты.

Тени от Ивана Петровича и от Афони, все удлиняясь и удлиняясь в уродливом изгибе, перемахнули через забор и вознеслись над поселком.

– Гори-и-им! – раздалось где-то в верхних улицах. Иван Петрович испуганно вскинулся и стал всматриваться на голос.

– Проснулся! – с веселой злостью отозвался Афоня. – Скоро уж сгорим, а ты только хватился. Давай, браток, подбегай, пока не поздно. Завтра шабаш, завтра не опохмелишься.

## 11

Одно дело – беспорядок вокруг, и совсем другое – беспорядок внутри тебя. Когда вокруг – при желании сколько угодно там можно отыскать виноватых, а иной раз и вовсе посторонние силы способны вступить в действие и сыграть, как говорится, роль. Словом, у того порядка или беспорядка много хозяев, им трудно бывает договориться, у них разное понимание мира устроенного, и что для одного разумное расположение вещей, для другого полный кавардак.

Во всем, что касается только тебя, ты, разумеется, сам себе господин. В находящемся в тебе хозяйстве взыскать больше не с кого. И даже если тебе кажется, что оно зависит от многих внешних причин и начал, эти причины и начала, прежде чем влиться в таинственные и заповедные твои пределы, не минуя твоей верховной власти. Стало быть, и в этом случае спрашивать приходится только с себя.

И нет ничего проще, как заблудиться в себе. Чувствительный человек это знает. Он смотрит на себя не как врач, который прежде всего видит органы, выполняющие определенные функции, а как могущественный и безвольный вседержитель чудом доставшегося ему от природы огромного и непонятного царства, требующего какой-то особой власти.

Тебе чудится, что ты знаешь, где находится в тебе совесть, где воля, где память где возникают желания и откуда берутся запреты и ограничения. Ты не знаешь места их расположения, но представляешь, по каким связям следует посылать сигналы, чтобы они отозвались. Совесть заговаривает в тебе не сама по себе, а по твоему призыву; быть может, она способна спросить и самостоятельно – конечно, способна, но не успевает: тебе верится, что ты обращаешься к ней раньше. Ты полагаешь, что так и должно быть в вверенных тебе границах: чтобы ты с опережением вмешивался в готовый ли раздаться ропот или ослабевающее согласие, чтобы ты выходил первым и заговаривал прежде, а не являлся по требованию.

Ты и они. Ты – властелин, несущий в теле своем, как в царстве, все его города и веси, все установления и связи, все пороки его и славу. И они, составляющие таинственную жизнь твоего мира. Это и одно целое и розное. Одно целое и неразрывное – когда правят мир и согласие, когда возникающие недоразумения, без которых никакая жизнь не обходится, существуют только до той поры, пока не рассудит разум. Именно так: недоразумение – до разума. И розное – когда наступает разлад и когда принадлежащие тебе владения отказываются тебе повиноваться. Только тогда приходит догадка, что они сильнее тебя. Потому что это они составляют твои поступки и мысли, направляют твои движения и добывают звуки из твоего голоса. Потому что в конце концов ты смертен, а они нет, они

были в тебе по велению какой-то неясной могущественной силы, которую ты так и не смог соединить в образ. И это она, а не ты, была их властелином, а ты был лишь временной их обителью, слабой оболочкой всего того, что они вместе из себя представляли и откуда они искали согласия и соединения с миром. Ты не оправдал их надежд и не донес, не показал, что тебе было велено. А это значит, что ты не был собой. Кем угодно ты был, но только не собой, и не с тобой, а лишь с именем твоим, станут прощаться, возвращая тебя обратно.

Одно дело – беспорядок вокруг, и совсем другое – беспорядок внутри тебя. Страшное разорение чувствовал в себе Иван Петрович – будто прошла в нем иноземная рать и все вытоптала и выгадила, оставив едкий дым, оплавленные черепки и бесформенные острые куски от того, что было как-никак устоявшейся жизнью. Не сказать, что он и раньше жил в полном согласии с собой, во всяком даже и совсем удовлетворенном человеке всегда что-то выходит из повиновения и принимается то ли скулить, то ли требовать. Выходило и у него. Но это нуждалось, так сказать, в текущем ремонте. Иван Петрович знал, чем поправляется это нездоровье – работой или добрым делом. Он не делал доброе дело только ради того, чтобы, как снадобьем, смазать им ноющую рану, оно делалось само, и боль постепенно утихала. Она словно затем и возникала время от времени то в одном, то в другом месте, чтобы показать, что они не потеряли способности чувствовать и болеть.

И что же теперь стало? Как случилось, что все его с такой заботой отстроенное нутро вдруг взбунтовалось и озлобилось против него? Что бы он ни делал – все не так, куда бы ни пошел, за что бы ни брался, какая-то сила останавливает его и вышептывает с мстительной выправкой в голосе: а больше ты ничего не мог придумать? А больше он ничего действительно не мог придумать, у него опускались руки и пронизывающим пустоdorfем обносило все тело.

Он не помнит, с чего начался этот раздор с собой. С чего-то ведь он должен был начаться, когда-то впервые его душа не просто не согласилась с ним, а возроптала и отказалась его понимать. То, как он жил, было ей поперек. Но в том-то и штука, что он всегда старался жить по совести, всегда поступки свои примерял к справедливости и пользе, к общему, как казалось ему, благу. А разве душа и совесть не родные сестры, разве не совесть питает душу и разве есть между ними распря? Когда нужно было говорить, правду, он говорил; когда требовалось дело – делал. Да он только и делал, что не сворачивал с правды и дела. И разве не важно для них оставаться в границах, какими они были представлены человеку? Правда – это река, ложе которой выстелено твердым камнем и берега которой в отчетливых песчаной и каменистой линиях, река с чистой и устремленной вперед водой, а не подпертая масса с гуляющим уровнем гниющей жидкости, с хлябкими и подмытыми берегами. Правда проистекает из самой природы, ни общим мнением, ни указом поправить ее нельзя. Так почему же тогда он, живущий по несворачиваемой правде, вступил в войну не только с другими, кто ее не хочет или принимает лишь наполовину, но и с самим собой? Почему он уверен, что не годится жить, соглашаясь с правдой лишь наполовину или отказываясь от нее вовсе (уж лучше вовсе, чем наполовину), но в то же время не уверен в себе, кто стоит прямо на другом конце против тех, кто точно не прав? Они не правы, и, он, говорящий, что они не правы, держащийся правды как закона, – и он не прав. В чем дело?

Или совесть и правда, существующие сами по себе, меж собой сообщаясь и друг друга пополняя, или они не самостоятельны и склоняются перед чем-то более важным? Перед чем? Перед душой? А что душа, хлопчущая о примирении, готова служить и вашим и нашим? Но если и вашим тоже, если она ищет правду и совесть там, где они не ночевали, значит, и правда не правда и совесть не совесть, а только ищущая и страдающая душа. И как быть ей, если совесть и правда скособоены по ее милости? В чем найти ей поддержку? Ладно, можно допустить, что душа не любит прямолинейности, не терпит правосудия, что так она устроена, что ей любо отыскивать жемчужные зерна в отвалах, да ведь пока она там будет рыться, на своей стороне ничего не останется. Ну, а что такое своя сторона, не своя, кто проводил между ними границу, и почему так тянет человека за эту границу, не есть ли в этом его общий удел – уйти со своей стороны на чужую?

И, додолбившись в бесконечных этих «как» и «почему», не державших ответа, соскальзывающих с ответа, как с отвесной стенки, додолбившись до глухого тупика, до какого-то остростенного безжизненного узика – отступал Иван Петрович: ничего не понять.

## 12

В последнем, мучном складе не одна только была мука и не с одними только крупами, хранили еще и сахар. Среди муки и крупы он держался по-барски: они, сваленные как попало в мешках на пол, оплыли серой пылью, для сахара же с левой стороны устроили настил и подстелили брезент. И кули, в каких он был, отличались чистотой и доброшивом, и уложены они были аккуратно. Будто не свои же мужики таскали и укладывали, а вызывали бригаду из-за границы. По привычке хвататься прежде за тяжелое, ноги понесли Ивана Петровича к сахару. Но Афоня Бронников придержал:

– Давай, Иван Петрович, за муку. Это все... – и он опять, как в том складе, отмахнулся.

Здесь хоть не припекало. Но торопиться следовало и здесь, до огня оставалась одна неполная постройка. Огромная и бесформенная куча не куча, штабель не штабель из муки возвышалась в полтора-два человеческих роста. Для двоих здесь таски до следующего пожара. Иван Петрович не позволил себе испугаться работы, не тот это был случай, чтобы раскидывать и подсчитывать, а взвалил первый попавшийся, отбитый в сторонку мешок, не подумав, что ради его отставили, и с головой ухнул в муку. Мешок по шву разошелся, разъявленным боком вскинул его на себя Иван Петрович и – как взорвался белым, мука залепила рот, набилась за воротник. Афоня, не выдержав, могуче загрохотал-захохотал:

– Теперь, Иван Петрович, в Анггару, опосле под огонь – и пирог готовый.

Отряхиваясь и отплеываясь, Иван Петрович не сдержал досады. Но это было и разумно, что он сказал:

– Ты, чем гоготать, прикинул бы, что мы с тобой тут с гулькин хвост не вытаскаем. На выпечку не хватит. Где народ-то?

– Начальник хотел собрать...

– Да он уже забыл, твой начальник!... Его отхватили куда – и с концом! Он без головы сегодня.

Встав на изготовку, которая показывала, что он сейчас начнет хватать любого за шкирку и метать сюда, Афоня пошел.

Иван Петрович с мешком на загорбке в дверях остановился. Куда? До ворот далеко, и таскать в ворота – это торить дорогу, которая никому не нужна. Рядом забор, но забор на ногах, он держит оборону против охотников до всего этого разбросанного по снегу и грязи добра. И все-таки надо валить забор. И вдруг Ивана Петровича ожгло: а где же топор? Где топор, который он прихватил из дому и которым сбивал крышу? Где он его бросил? Иван Петрович кинулся было на огонь, но спохватился, что в последнем складе, откуда он выкатывал масло, делать ему с топором было нечего, он оставил его где-то раньше. И топор сгорел. Сгорел топор, который нужен сейчас для забора больше рук. Взял из дому вещь и погубил.

Он вспомнил опять об Алене, и тревожным был этот выскерк о жене: не подлезла бы, дурная голова, под беду. Почему-то показалось, что между ними сейчас огромная даль. Рядом, а далеко. Потому что расстояние это меряется другими, неизвестными шагами, которыми он еще не ходил.

До того, как кинуться куда-то, взглянул еще Иван Петрович на склад, откуда его выхватил Афоня: в дверной проем там уже не ныряли и не выныривали, а метал из него сквозь шторой наплывающий рисунчатый огонь последние банки и склянки. Это до чего же надо быть отчаянной башкой, до чего ошалеть от геройства, чтобы держаться там неизвестно на чем! А перед дверью кто-то в белой заячьей шапке, в прыжках и бросках перехватывая на лету выбрасываемое, выделял такие коленца, какие не снились и циркачу. Перехватывал и, не глядя, откидывал за спину. Неподалеку в ярком озарении стоял и смотрел на него Борис

Тимофеевич. Выхлестнуло над серединой промтоварных складов высоко пламя и крутым светом высветило весь двор, в котором все, казалось, стояло неподвижно и любовалось ловкостью парня в белой заячьей шапке. И стоял и любовался Борис Тимофеевич. Пламя опало, и начальник сорвался с места, сорвалось опять и все остальное.

За короткий тот миг, когда разом высветило весь двор, успел заметить Иван Петрович вдоль по забору прислоненную к столбу колотушку, которой Афоня орудовал наверху, и теперь как нарочно оставленную там, где она могла понадобиться. Иван Петрович на бегу подхватил ее и ухнул рядом со столбом по верхней и тут же по нижней поперечинам. Забор отвалился, открыв вид через вдавленную дорогу на огород и баню однорукого Савелия из коренных ангарских мужиков. Иван Петрович отбил второй конец связи, она упала, и здесь к нему подоспел помощник. Ничему в эту ночь не следовало удивляться, и все-таки Иван Петрович не мог сдержать удивления. Помощником был не кто иной, как Сашка Девятый из архаровцев. Вдвоем они приподняли сваленное звено и спустили по откосу на дорогу. Специально гадай лучше не выгадаешь: вышел помост – чтоб муку не на землю.

– Давай еще одну, Иван Петрович, – весело и араписто скомандовал Сашка. Знал он, оказывается, и по имени-отчеству, а не одно лишь «гражданин законник».

Они оторвали вторую связь и постелили ее рядом с первой. И только поднялись – с тяжелым стоном осел, брызнув искрами, первый на изгибе промтоварный склад. Искры из него все сыпали и сыпали, заглушая крики и забывая свет. Сашка помчался туда. Иван Петрович видел, как мужики, которых вел Афоня, метнулись обратно. И он не вытерпел: надо было отыскать Алену.

Алена стояла в пяти шагах от вороха с добром, куда она что-то принесла и опустила с бряком, и только бряк этот и подтвердил, что она прибежала не с пустыми руками. Теперь, остановленная до взапятки плеснувшей раскаленной волной провалившегося склада, она не помнила, откуда прибежала и что принесла и потеряла, куда бежать. Кругом, повернутые в одну сторону, где все еще трещало и искрило, кричали и размахивали руками, но и крики были сухими, и размахи с подпрыгами и наклонами – будто в заведенной игре. Во всем том, как вели себя люди – как они выстраивали цепи, чтобы передавать из рук в руки пакеты и связки, как бегали по двору, отворачивая друг от друга и сталкиваясь, как дразнили огонь, рискуя собой до последнего, как заводились то в лад, то не в лад кричать, – во всем этом было что-то ненастоящее, дурашливое, делающееся в азарте и беспорядочной страсти. Настоящим был только огонь, сосредоточенно и беззастенчиво перемальвающий все, что подворачивалось на его пути.

Искрить безостановочно и взрывчато наконец перестало, и снизу, на обвалившемся, опять наладился огонь. На оборванных углах он светил вытянутыми и склоненными факелами. Соседний промтоварный склад под высоким венцовым пламенем, казалось, раскачивается и скрипит, пытаясь оторваться, и не может оторваться, притянутый с другой стороны общей стеной к следующей постройке. Кстати или некстати Алена вспомнила, как рассказывали, что под Усть-Илимом вниз по Ангаре поднимало со дна и носило по воде затопленные с лесом острова, которые потом бомбили с самолетов. В ближнем продовольственном складе под каким-то сладостным продуктом не горело, а сияло – как при электричестве. Ясно виделось теперь, что нет, ни одного склада не отбить.

Алена достояла до момента, пока на нее не наткнулся Иван Петрович. Испуганный ее неподвижностью, когда все кругом бежало и кричало, он подкрался последними шагами и зашел к ней спереди.

– Ой, Иван, ты погляди! – встrepенулась она, не зная, что сказать. Смотреть тут же нашлось на что. – Ты погляди! – она показала на извивающуюся справа в отдалении и все равно освещенную фигуру, которая, скинув шубейку, что-то торопливо на себя натягивала. Кто-то это был из архаровцев, Иван Петрович различал их по коротким и дерганым движениям.

– Что же это делается-то, Иван?! Что делается?! Все тащат! Клавка Стригунова полные карманы набила маленькими коробочками. А в них, поди, не утюги, в них, поди, че-то

такое!... В голяшки наталкивают, за пазуху!... А бутылки эти, бутылки!...

– Не вздумай ты что взять, – он и слова-то эти сказал, чтобы только вытолкнуть из себя скопившийся внутри угарный комок.

Да, тут никакой дядя Миша Хампо не поможет. Хампо караулит, чтобы не вынесли что большое, заметное, а тут вон как...

– Да ты что, Иван! Ты что?! – без возмущения, видя, что он не всерьез, зачастила Алена. – Мне-то зачем? Много я тебе натаскала, покуль живем? Шибко много?

Дьявол с ними, пускай подавятся.

Он не пошел одергивать ту архаровскую фигуру.

### 13

Два года назад справлено было тридцать кругов, как Иван Петрович жил с Аленой. А справлено было так: взяли в одно время отпуска и проехали по выросшим детям, которые все до единого ушли из родного дома. Но их и всех-то – две дочери и сын. Двигались от ближнего к дальнему: сначала к дочери в райцентр, где она учительствовала в младших классах, потом ко второй, к старшей, дочери в Иркутск, где чуть было не споткнулись, только там, в Иркутске, узнав, что дочь в больнице. Дали ее семье квартиру в девятиэтажном доме на самой верхотуре, а лифт не пустили, и вот, таская при переезде совсем тяжелое и не совсем тяжелое, надсадилась она до того, что сразу после новоселья загуляла в больницу. В мать – та тоже не знает удержу. Конечно, неловко было уезжать при таком раскладе, но Таня, городская дочь, настояла, чтоб ехали. До чего Иван Петрович, привыкший ко всякому и не разморенный мужик, а и он, сделав десяток ходок на девятый этаж, заплетаясь на последних пролетах ногами и руками, заметно почернел вырывающимся словом и рад был уехать подальше от этих вызверяющих граждан городских удобств.

А лифт там, пишет дочь, и по сю пору на приколе, в его шахте через выломанную дверь уже кто-то разбился. Что в иных местах нельзя, в Иркутске можно.

И только у сына, к которому летели на самолете, Иван Петрович вошел опять в душу. Сын Борька встретил их в Хабаровске – рослый, как все они нынче на сытых хлебах, сильно повзрослевший, в форме, выделяющей его мужскую статью и подбирающей материнскую скуластость. Уже и не Борька, а Борис Иваныч. После авиационного училища он работал техником в небольшом аэропорту, и, к покою Алены, работа его делалась на земле. В тот же день на другом, на маленьком самолете они прибыли на это место – красивый и богатый поселок, весь в зелени и уборе. Правда, и время выпало хорошее – сухой сентябрь. Борис жил своим домом, который отдали молодым тесть с тещей, построившиеся посolidней отдельно через улицу, а при доме был сад с разной ягодой и самделишной яблокой. Обо всем этом Борис и рассказывал и писал, но, пока не видел глазами Иван Петрович, как к писаному и относился. А потерял яблоко с живого дерева, обошел поселок, поглядел в людские лица, не испорченные через одно пьянством, съездил на рыбалку, подивившись, что рыбы в невеликой речке больше, чем в Ангаре, и порадовался за Борьку. Везде, сказывают, хорошо, где нас нет, но тут и верно было не худо. Дело не в яблоке и не в тепле, свой климат он и есть свой, а жизнь здесь чувствовалась не надрывная, порядка здесь просматривалось больше, и держался этот порядок не на окрике и штрафе, а на издавна заведенном междуособном общинном законе. Вот в чем дело. И даже если и преувеличивал Иван Петрович, а казалось ему, что ничуть он не преувеличивал, то и тогда несравнимо с Сосновкой.

Сын с невесткой пристали: переезжайте. Им подпели Борисовы тесть с тещей, которым Иван Петрович с Аленой приглянулись, видать, бесхитростностью и подладом. Присмотрим неторопко дом, сторгуемся, здесь большой совхоз, работа найдется. Будете при нас, а мы при вас, все равно надо к кому-то притуляться. Никто вас в Сосновке за хвост не держит.

Никто за хвост не держит, а Сосновка сама? А земля, которой отдана жизнь? И жизнь всего позадного, прежнего рода. Неужели оставить все это архаровцам, которые, идучи с

работы, по дороге сворачивают на кладбище оправляться, с чем прихватил их однажды Иван Петрович? Кому-то надо или не надо держать оборону? Протв чужого врага стояли и выстоим, свой враг, как и свой вор, пострашнее

С тем и примирился Иван Петрович, воротившись от сына и впрягшись опять в невеселый хомут сосновской жизни. Но знал он теперь, что не всюду живут одинаково и что есть куда оборачиваться за поддержкой. С тем и работал, продолжая тянуть лямку победителя соревнования, хотя никакого соревнования не было и в помине, а было – или работник ты, или нет, или природный пахарь, или неотставной болтун. И встревал, и лез на рожон, и сердце надрывал снова и снова – с тем же: не везде трын-трава. И выходил из отчаяния, и других наставлял, кто готов был из него не выбираться, соорудив из отчаяния стену, за которой... гори оно все синим пламенем.

Все с тем же.

Однако в последнем году стало совсем невмочь – с тех пор как прибыла и утвердилась теперешняя бригада архаровцев. Раньше этих бригад перебивало не счесть. Поживут, погудят, покажут местному народу товар лицом – и восвояси, дальше пытаться неприкаянную свою судьбу. И уж на кладбище до десятка могил их них, кто ненароком отыскал ее и причалил навеки. Всякие наезжали, но таких, как нынешние, не было. Эти явились сразу как организованная в одно сила со своими законами и старшинством. Пробовал разбить их – не получилось. Пытались отправить на лесосеку за Ангару – нет. Остались на нижнем складе рядом с поселком на разделке и откатке, где нужны сноровистые руки. А у них сноровка по другим делам. И пошло-поехало. Лесом все кругом завалено впереплет, так что не подъехать, кубатура вместе с обрезью, в огне горят и вершинник и хлысты. Стоишь с машиной по полчаса, пока сам не поможешь растаскать завал. Не удержишься, накричишь, а с них взятки гладки, они только похохатывают да подкусывают, накричишь потом на Бориса Тимофеича, а он на тебя. На работу стал выезжать как на каторгу.

И в поселке. В клубе бильярд на деньги, в магазине для всех очередь, для них – посторонись. А скажи – оборвут так, что недели не хватит, чтоб собрать себя по кусочкам. Люди, столкнувшись с какой-то невиданной сплоткой, держащейся не на лучшем, а словно бы на худшем в человеке, растерялись и старались держаться от архаровцев подальше. Сотни народу в поселке, а десяток захватил власть – вот чего не мог понять Иван Петрович. Но, раздумывая об этом, догадывался он, что люди разбрелись всяк по себе еще раньше и что архаровцы лишь подобрали то, что валялось без употребления. Он допускал и верил даже, что при большой общей беде архаровцы могли показать себя людьми – не совсем же пропащее это племя, но при развезени, когда ни шатко ни валко, их собирает вместе и возносит в расхристанности неурядье, которое они чувят, слетаясь к нему, по-звериному обострившимся чутьем. Не зря прижились они в Сосновке; в Сырниках, где теперь сын, не прижились бы. А здесь за год съезжало только двое. Один кавказского вида, державший попервости верх в команде, был, по-видимому, скинут и уволен своими же, после чего утвердился Сашка Девятый; другой, покалеченный в пьяной драке, обратно из больницы не вернулся. И еще один, по фамилии Сомов, отбилсЯ от своих и ушел в семью к Наде Почиваловой, мужик у которой утонул.

В декабре вырुливал Иван Петрович с нижнего склада в поселок после работы, и на полдороге остановил его Сашка Девятый, шагавший с кем-то из своих. Иван Петрович притормозил. Сашка сел, а тот, другой, остался, хотя место в кабине было. Красивый парень этот Сашка – высокий, ладно сбитый, со светящимся белобрысым лицом, но красота как бы подточена чем-то. Сразу и не понять, в чем штука. Будто подсыхает она изнутри, морщится, будто поверху только и осталась.

До самого поселка ехали молча. Но, сходя у общежития, сказал Сашка с неряшливой улыбкой:

– Ты вот что поймей, гражданин законник, герой борьбы и труда... Ни нам до тебя дела нет, ни тебе до нас. А будешь к нам за делом ходить, и мы к тебе придем.

А вскоре кончилось в магазине питье. Кончилось и кончилось – ни справа по Ангаре

нет, ни слева. И архаровцы, оголодав, снарядили с рюкзачком брата своего, Соню, в город. Неделю, пока летал да сидел он по непогоде в аэропортах, работали они за «того парня», скрывая, что его среди них нет. А тут лес, тут годовой план, день и ночь на нервах. Каждые руки на вес золота. А по прибытии Сони с продуктом архаровцы поредели вдвое. Иван Петрович привез директора и показал: смотрите, что творится. Тот снял бригаду с нижнего склада. Потом Борис Тимофеич вернул ее, работать в конце концов кому-то надо было, а на запущенное архаровское место, опасное еще и тем, что оно архаровское, никто идти не хотел.

В январе, в ветреный со снегом день, когда в двух шагах ни холеры не видать, подъехал Иван Петрович на нижний склад и встал под разгрузку. Подошел разгрузчик, подцепил крюком лес и свалил на поката. За один раз не вывалить, снова зацепил остатки и снова потащил на себя. Не теряя времени, Иван Петрович стал поднимать стойки. В каждой из них вес нешуточный, сдуру не вымахнешь. Задрал наверх первую и замешкался, чтобы перевести дух. И только сделал шаг, только вынес из-под нее голову, тяжеленная металлическая подпора вдруг оборвалась. Взяла и оборвалась, хотя, установленная и наклоненная внутрь, не должна была пойти назад и никогда не ходила. С той стороны, куда вывалился лес, суетились архаровцы – двое. Иван Петрович постоял возле них, посмотрел, подумал и ничего не сказал. А что скажешь? И поехал, размышляя над судьбой.

На собрании, где подводились итоги года, Ивана Петровича премировали талоном на ковер. Он поднялся и, портя заведенную обедню, отказался от талона: ковер ему был не нужен. Ни премии, ни почести ему были не нужны, а нужна была такая работа, которую с другого конца не подпирают, чтобы ее остановить, и такая жизнь, которая обошлась бы без подножек. Он так и сказал. Но сказал нервно, чуть не на слезе, допытываясь, почему делается вид, что все хорошо и даже прекрасно, если выполняем план, и до каких пор план станет прикрывать и оправдывать все, что творится внутри плана? Обида Ивана Петровича была не на архаровцев – что с них взять?! – а на своих, притерпевшихся и покосившихся, поверивших, что всякая перемена только во благо. Иван Петрович, разгорячась, захлебнулся тем же, что упирало его в спину и при ночных раздумьях: да неужели только он один это видит и понимает, а никто больше не видит и не понимает? И если он один, то зачем? Зачем видеть и понимать? Есть ли это истинное видение и понимание? Не покривился ли он сам тем именно, что слишком упирается, чтобы удержаться в прямизне?

Палисадник перед избой разворотили совсем недавно, уже после того, как Иван Петрович написал заявление об увольнении. Скорей всего, подцепил с пьяных глаз кто-то из своих. Если спрашивать, нетрудно и доискаться, чья это работа. Но спрашивать не хотелось. И Алена молчала, а уж ей-то обязательно донесли. Обида с людей, правых и виноватых, сошла в нем в злость только на самого себя.

Спасение было одно: уехать.

## 14

С некоторых пор Иван Петрович невольно стал присматриваться к Алене внимательней. Даже и не присматриваться, а как бы прислушиваться к тому месту, которое она занимала с ним рядом. Каждый мужик, наверно, держит перед собой два образа жены – какая она есть и какой бы он хотел ее видеть. Они то совпадают, то расходятся, то заговорят одним голосом, то на разные. У них словно бы и лицо с отличниками, и меж собой они не обязательно ладят. Мужик, понятное дело, безошибочно слышит, когда подходит к нему одна и когда другая, но и она сама знает, где в ней какая, и она чувствует несоединенность в себе человека и жены. Конечно, то же самое можно сказать и о мужике, но сейчас не о нем речь.

И вот Алена его, неизвестно с какого времени, сошлась в одно целое. Больше всего озадачило Ивана Петровича, что он не заметил, когда это произошло, когда он перестал делить ее на Алену для себя самой и Алену для него. Проживши тридцать да еще с гаком

годочков, ясно, что они немало перелились друг в друга и тем уже стали роднее, что в каждом из них прибавилось плоти другого, которая не может не проникать к своему изначальному крову. Все это так, и все то должно бы относиться ко всем, десятки лет ложившимся в общую постель. Однако у Алены было что-то еще и особое. У нее изменился голос. Словно это не она говорит, а через нее говорит единая женщина, мать всех мирских женщин. Голос сделался глубже, сочнее и шел серединой звучания, не прибываясь к сухим берегам. И частить она стала меньше, и слово стало добычливей: раньше она изводила великое множество слов, пока извлекала то, самое главное, ради которого заводила разговор, теперь же оно находилось быстрее, без артподготовки, как любил он подшучивать, и оказывалось точнее.

Алена незаметно заняла место, на которое ее в молодости не хватало и которое можно определить так: женская сыта. Это значит, что Алены было ровно столько, сколько нужно, – не больше и не меньше. Быть может, чуть больше, но маленький перебор всегда исправим. Находился ли он дома или уходил, он постоянно чувствовал в себе Алену, продолжавшую свою неустанную службу. Она, когда требовалось, добавляла или убавляла его характеру, находила в нем терпение и вела домой. В долгих рейсах у себя в машине он нередко разговаривал с ней, зная, чем она станет отвечать, и, поговорив, посоветовавшись, приходил к какому-нибудь решению. Опрятный и мягчительный тот мир, который был Аленой, с годами не только не выстыл, но еще и пораздался в понимании и тепле. Мужик, в котором не звучит голос жены: погоди, Ваня или Степа, скоренько выпрастывается из жизни и, даже живя, ходит в ней как в малахее с чужого плеча.

Маленькая, подбористая, с девчоночьей фигурой, она не передвигалась, а взмывала и летала. И так до сих пор, хотя надо бы уже поубавиться прыти. Глядя на нее, не раз Иван Петрович обрывал себя на страшной и, быть может, вещей мысли, что такие люди, как Алена, такие порывистые и заведенные, срезаются мгновенно, без жалоб и постепенного остыва. В свое время, когда, наломавшись вдоволь и нормировщицей и учетчицей, наслушавшись матюков и нахолодавшись на вольном воздухе, спросила-сказала она, что собирается пойти в библиотекарю, Иван Петрович засмеялся: «И что ты там станешь делать? В окошки, как бабочка, биться?», не представляя ее сидящей, как того требовала работа с книгами. А она и не сидела. Она даже карточки выписывала на ногах, чуть склонившись над столом или подоконником. И по участкам, по участкам, подсовывая книжки даже тем, кто не знал, с какого конца они раскрываются. А сколько он, Иван Петрович, книг перечинил – до сотни! – сначала какие читал, потом остальные, и не одной починкой, а она все подкладывала и подкладывала.

Теперь, значит, и ей сходить с работы, которую она любила.

Не принято ныне хвалить жен, но что делать, если нечего представить Ивану Петровичу даже и для бога самого об Алене худого. И как вспомнит он: вот она бежит, вот бежит повечеру в дом, нетерпеливая и утлокашаяся, чтоб скорей увидеть мужика, вот на бегу еще выкрикивает что-то виноватое и прерывистое – и сразу мирью растягивается душа. Вот они сидят вдвоем за чаем, он молчит, она говорит за него и за себя, и он не знает, где чьи слова, а знает только что наговорились они с пользой и властью.

Жена – это что-то отдельное. Дозволенное для общей жизни, но отдельное. Иные весь век притираются друг к другу и не могут притереться. Алена для Ивана Петровича была больше чем жена. В этой маленькой расторопной фигуре, как во всеединой троице, сошлось все, чем может быть женщина. Обычно таких, кто всю жизнь изо дня в день выстилается и выплескивается, не ценят, принимая как должное, как воздух и воду, эти старания и добываясь чего-то, неизвестно чего, еще. Русский мужик не привык жить с бабой в одну душу. А у Алены все это было без надсады и жертвы, а исходило из природы ее и души, и она засохла бы на корню, если бы не над кем было ей хлопотать и кружить. Все до капельки выносила она в общую жизнь, ничего для себя не оставляя, и, опростанная, полегчавшая и с лица и с тела опавшая, столь счастливо и блаженно улыбалась, укладываясь спать, чтобы застать за ночь новыми силами, что никаким хитрым сомнением нельзя было усомниться,

будто это не так.

Каждый, поди, мужик держит в своей памяти какой-то один случай, способный скачать об его жене все. Давным-давно, еще жили в Егоровке, возился как-то Иван Петрович под машиной с невыключенным раскрытым мотором. Машина была старая, ЗИС-150. Он только после отыскал, где подтекало, а до того и не знал – мотор вдруг вспыхнул. Распластанный на земле и растерявшийся, Иван Петрович обмер. И выскочил он, когда на него чем-то сыпануло. В углу на предамбарнике стоял короб с песком, приготовленным для зимы, Алена одним махом подхватила его и ухнула на огонь. Потом, когда короб снова наполнили, Иван Петрович с великим трудом едва отодрал его от земли. Алене нечего было и пытаться.

– Это не я и была, – простодушно решила она. – Это кто-то, чтоб спасти тебя, мои руки подхватил да свою силу подставил. А я ниче и не помню. И тяжели вроде никакой не было.

И сколько такого случалось, что кто-то ее руками подымал и подымал непосильные тяжели.

Когда пришел Иван Петрович и сказал, что все, конец, решил он подавать заявление, она согласилась:

– Ну так че, Иван... конечно, к Борьке охота... Он научился слышать и то, что она недоговаривала. К Борьке охота, но не так бы, не так...

## 15

Теперь только таскай и таскай. Иван Петрович подставлял плечо, стягивал на него с верхних рядов навала мешок, движением плеча укладывал его ловчей и разворачивался в сторону наскакивающих в двери беснующихся огненных сполохов. И, торя один ход, спускался к дороге. Дело знакомое, за жизнь свою потаскал, и, если бы не огонь, не беда, было бы в этой работе даже приятное, как не умственное, а физическое воспоминание о молодости, когда всей деревней нянькались с хлебом. И сколько потом за лесную свою жизнь, где только выпадал случай, брал Иван Петрович в щепоть мучицу, мял в пальцах и ждал, когда вслед за горчащей виной, как за побудкой, в поте, пыли и солнце не подступят картины хлебных работ.

Было их поначалу, выносивших муку, человек десять. И так славно подвинулось в азарте и общем подстеге, когда двое-трое набрасывают, остальные таскают, что за короткий аврал сняли всю верхотуру. Иван Петрович примеривался уже и к сахару: вот-вот братья и за него, а он, купчина, сладок на языке, да горек на горбке. Однако, не подымающему почти глаз и ничего не видящему, кроме мешков да дороги, все реже стали попадаться Ивану Петровичу встречные фигуры и все хуже подаваться из складского запаса. Иван Петрович распрямился – осталось их четверо: он, да Афоня, да однорукий Савелий, усадьба которого была рядом, да какой-то покачивающийся, раздетый до рубахи, полузнакомый парень.

– Афоня! – крикнул Иван Петрович. – Че ж это такое опять? Где они?

– Там интереснее, Иван Петрович, – ответил тот, пробегая. – Интереснее там, понимаешь?

На себя. На себе. С себя. Недолгая пробежка, чтобы едва-едва вернуть прыгающее сердце на место, и снова: на себя, на себе, с себя. А уж не молоденький. И все глубже присядки на ходу, все чаще заплетаются ноги, и сердце не успевает отыскать свое гнездо. Даже Афоня, здоровый этот бугай, наваливавший поначалу крест-накрест по два мешка, и под одним бегал теперь с опущенной головой.

Появился Борис Тимофеич и тоже подстроился таскать, отдав власть само собой происходящим событиям. Но Афоня и Иван Петрович в голос потребовали, чтоб не пыжился он, а гнал сюда мужиков. Водников ушел, затем опять появился, приведя с собой нескольких, и один из этих нескольких, полупьяный архаровец, взялся организовывать цепочку – чтоб не тащить полным ходом, а передавать мешки из рук в руки. Афоня послал его вместе с цепочкой подальше, что тот и не замедлил исполнить, так что больше его и не видывали. Из нового привода прибавилось двое надежных – Семен Кольцов и слесарь из гаража Тепляков.

Мелькнул, посветив раза три удалым лицом, Сашка Девятый и исчез.

Где больше – на вынужтом, вынесенном на дорогу, или в складе – не разобрать.

Иван Петрович отметил, что Тепляков взялся за крупу. Правильно, наверно: надо бы и ее хоть сколько-нибудь отбить. Надо бы все отбить, но огонь в ближнем складе нажимал, похрустывала, подготавливаясь, и заметно нагревалась общая стена, к которой приваливалась крупа. В помощь Теплякову Иван Петрович решил брать поочередно: раз мука, раз крупа. Внутри потускнело и помертвело, густо ходила мучная пыль, всполохи из дверей попригасли и мелькали только на сахаре. И все больше и больше наносило справа, когда вбегали, и слева, когда выбегали, напористым горячедеуем.

Под мешками ничего не видел и не слышал Иван Петрович. Бухало сердце, и все остальные звуки глохли или казались слабыми подголосками в этом раздирающем грудь прибое. Перед глазами все смешалось – пожар изнутри и пожар настоящий, те и другие огни наплывали и кипели одновременно. Иван Петрович запалился. Скинув мешок, он вслед за мешком повалился на деревянный настил и ухватился, как привязался, взглядом за подвернувшуюся постройку, чтобы не потерять сознание. Этой постройкой оказалась баня, из которой вдруг появился человек, по виду хозяин ее, однорукый Савелий, и, угадывая в следы, спустился к дороге. Широко округ было озарено, но темно было в глазах у Ивана Петровича, и он не мог сказать, действительно ли кто выходил из бани или ему померещилось.

И еще померещилось ему: ходит старуха в короткой шубейке с поднятым воротником и рвет обочь дороги цветы. Идет-идет, высматривая, наклонится, торопливо сорвет и в сумку. И на другой сугробный наклон. Иван Петрович узнал ее, когда обернулась она, и пожалел, что узнал, потому что тут же и догадался, что это были за цветы, что за подснежники. Старуха, за которой ничего похожего никогда не водилось, подбирала выброшенные со двора бутылки – и уж конечно не пустые. Да ведь и истории такой до сегодняшней ночи тоже не водилось.

Из-за угла от Ангары вымахнул огонь – и это над последним, над мучным складом. Иван Петрович вскочил. Вот почему никто после него не спустил ни мешка: теперь только выносили и сбрасывали в пяти шагах от дверей, времени на полный перенос не осталось.

На другом конце огня, где промтоварные склады и где пылало сплошной мощью, как жаром, качало неровный людской строй. И слышался оттуда резкий голос Бориса Тимофеича, перекрывающий разнобой всех других криков. Люди стояли там – чтобы не пустить огонь к магазину. Уцелеет магазин – поверится, что почти победили, что чуть-чуть и победили бы полностью.

Посреди двора, размахивая здоровой рукой, прыгал кособоко вокруг вороха со спасенным добром дядя Миша Хампо. Издали смотреть, казалось, что заворачивает он разбегающихся от курицы цыплят.

Стоять в воротах ему было незачем, все теперь было растворено.

Дядя Миша Хампо, этот дух егоровский, парализован был с детства и плетью таскал правую руку, которая едва годилась для нехитрого подтыка или прихвата, и говорил с таким трудом, что постороннему человеку понять его было невозможно. «Хампо-о! Хампо-о-о!»— долго-долго возил он, извлекая из оцепеневших глубин нужное слово, и, если удавалось его извлечь, торопливо подтыкал это слово находившимся где-то неподалеку «ага» и озарялся счастливой улыбкой. Кто знал дядю Мишу Хампо, торопился помочь ему подставить следующее слово, и тогда он, сияя крупным темнокорым лицом, только кивал и агакал. «Хампо-о!»— начинал он, переступая через порог, и хозяин или хозяйка, не затрудняясь ничуть, отвечали: «Здравствуй, здравствуй, проходи. Был, говоришь, в магазине? Очередь? И обед уж сварил? Ну, когда так, садись чаевничать с нами».

Чтобы понимать друг друга, много слов не надо. Много надо – чтобы не понимать.

Жил дядя Миша один. Жену свою, из военных переселенок, он похоронил давно, племянник, которого они воспитали, после армии завербовался на Север и, золоторукий, сметливый, всему сызмальства обученный, получал там большие деньги и не слал ни

копейки. Дядя Миша и обстирывал, и обстраивал себя, выкармливая поросенка, и в свои семьдесят лет нанимался еще колоть людям дрова. Силы он был могучей и одной, левой рукой привык делать все, что угодно. Но это раньше он был силы могучей, теперь она, конечно, поизносилась, и, возясь с дровами, все чаще втыкал он колун в чурку и подолгу и неотрывно смотрел на замерзшую, на открытую ли Ангару.

Иногда порывался он сказать что-то об Ангаре, а вероятней всего, об Егоровке, ушедшей под воду, показывал в ее сторону рукой, давился «хампо», но тут уж люди, кроме названия старой деревни, подсказать ему ничего не могли. Дядя Миша огорчался и уходил.

А ведь что-то тужился он сказать важное.

Хампо был прирожденный сторож, сторож-самостав. Не из-за уродства своего, нет – делал он любую работу и переделал ее безотказно во множестве. Так он выкроился, такой из сотен и сотен уставов, недоступных его голове, вынес первый устав: чужого не трожь. Все неудобства мира и неустройство его он, быть может, с одним только и связывал: трогают. С великой охотой шел дядя Миша на любую охранную службу: караулил при колхозе егоровский горох, объезжая из году в год верхом на кобыленке поля, ночи проводил на зернотоках, днем в свободную минуту вышагивал досматривать в коровнике и конюховке. И за зоркое свое око плату никогда не спрашивал, считая, что общественный оберег, который он творит, на него возложен рождением. И в новом поселке, когда перевозились и строились, дядя Миша поначалу сошел бы за коменданта: за всем присматривал и во все, требующее охраны, вступал. К этому привыкли, и никому из своих в голову бы не пришло одергивать дядю Мишу, что лезет он не в свое дело. Но в первые годы и кражи случались редко. А если случались, дядя Миша переживал страшно. Не существовало для него в установленном житейском порядке большего несчастья и большего урона, чем воровство. «Что ж ты, дядя Миша, куда ты смотрел?» – спрашивали его не шибко чуткие к чужой боли люди, хорошо зная, что за этим последует.

Следовало всегда одно: дядя Миша, безуспешно пытаясь что-то выговорить, в чем-то оправдаться, принимался рыдать. «Хампо-о! Хампо-о!» – на куски рвало его душу, крупное тело сотрясалось, по лицу катились слезы, правая рука норовила подняться и что-то указать.

Со временем воровство утвердилось, и дядя Миша долго не протянул бы, если бы с таким надрывом отзывался на всякую кражу. Пришлось и ему привыкать. При слухах о пропаже он уже больше не вздрагивал, как от удара, и не убегал в свою избенку, чтобы не показать слабость больного, лишь лицо его деревенело, выражая какую-то огромную, забирающую всю жизнь, сосредоточенность, и немало требовалось времени, чтобы на нем опять появилась виноватая улыбка.

Но он и вор-то ныне переродился один дьявол знает во что. То взрослые ребята, чтобы угодить на праздник молоденьким учительницам, заберутся в чужой курятник и поотрывают петухам головы, то при полном сыт-одет и нос в табаке разорят старушонку, с великой натугой собравшую магазинское угощение для работников, согласившихся распилить дрова. И прежде бывало... Но не бывало такого, чтоб один из озорников, доставивших для потрошенья птицу, приходился родным братом учительнице, у которой справляли праздник, и чтоб другие озорники, проверявшие у старушонки кладовку, теми как раз и оказались работниками, которым готовилось угощение и которые, угостившись, работниками быть отказались.

Не воры – пакостники.

## 16

Все чаще и дотошней, решившись на переезд, стал раздумывать Иван Петрович: что надо человеку, чтобы жить спокойно? Если есть у него работа, на которую он не смотрит как на каторгу, и семья, к которой его тянет, – что требуется еще, чтобы, проснувшись ненароком ночью, не чаял он дожидаться утра для желанной подвижки?

Начать с достатка... Достаток – да, он надобен, без него человек начинает хлябать, как

отошедшая от мяса кость. Но недостаток – это не только запас в себя, на себя и за себя, не только то, что требуется сегодня и потребуется завтра для удовлетворения живота, а также для удовлетворения самому выйти и другим нос утереть. Когда бы так, до чего бы все было просто. Но боров в теплом закутке не может не знать, что его откармливают на мясо, потому что хоть маленькие и заплывшие да есть у него глаза, способные видеть, что работа у тех, кого не на мясо, не только жрать, а жизнь – не одно лишь ожидание жратвы. Человек, окруживший себя целой оравой подспорья, вырабатывающего недостаток, обязан иметь внутри этого достатка что-то особое, происходящее из себя, а не из одного лишь хват-похват, что-то причинное и контролирующее, заставляющее недостаток стыдиться вопреки себе полной своей коробушки.

Ну ладно, о недостатке потом.

Не только во имя его превосходительства брюха делается работа. Сколько их, неработающих или едва работающих, набивают брюхо ничуть не хуже, сейчас это легко.

Работа – это то, что остается после тебя. Тебя нет, ты уже и сам становишься работой для других, а она долго-долго еще будет напоминать о тебе живущим вслед за тобой. Так говорят. Так оно и есть, тем более, если работа твоя вливается в полезную реку. Есть две реки – с полезным и бесполезным течениями, и какое из них мощней, туда и сдвигается общая жизнь. Но это опять-таки в общем, в каких-то огромных, надчеловеческих понятиях, а что должен испытывать он, чуть свет выезжающий завтра за двадцать и тридцать километров, чтобы привезти за смену свои кубометры древесины? Конечно, уже сам язык: километры, кубометры, древесина – вроде бы должен определять чувства, наталкивая их на рубли. Но это не так. Не совсем так. Не рубли его подстегивают, заставляя перегружать КраЗ и выкраивать лишний рейс, а сама работа, берущая единым охватом сотни людей. В работе он не помнит что это километры, кубометры и рубли, он возносился над ними в какую-то иную высь, где нет никакой бухгалтерии, а есть лишь движение, ритм и празднество. Там он постоянно движется попутно, а потому двигаться легко. Чему попутно, он не мог бы сказать, похоже, попутно душе, ее изначальному наклону; там он весь превращается в ответ на чей-то стремительный зов, душа его выстреливается и начинает раскрыто и вольно звучать.

Да, он работник, он за собой это знает, и с той высоты, на которую он взмывает в работе, жизнь видится надежней всего.

Четыре подпорки у человека в жизни: дом с семьей, работа, люди, с кем вместе правишь праздники и будни, и земля, на которой стоит твой дом. И все четыре одна важней другой. Захрамает какая – весь свет внаклон. Это только в детских глазах мир выглядит как чудесный подарок, сияющий солнцем и наполненный людским доброжелательством. Чем дальше от рождения, тем больше поднимающееся солнце высвечивает его расстроенность и разнорядность. В младых летах Иван Петровичу казалось, что это недостроенность, незаконченность в долгой и тяжелой работе, требующей продолжения, но затем стало видно, что, не будучи достроенным, он расшатался и на старых основаниях, а люди торопливо возводят все новые и новые, раскачивающиеся на незакрепленных низах.

Ни в какие времена люди не приближались, вероятно, к подавляющей добросклонности, и всегда на одного склонного приходилось двое-трое уклонных. Но добро и зло отличались, имели собственный четкий образ. Не говорили: зло – это обратная сторона добра с тем же самым лицом, косящим не вправо, а влево, а считалось, что зло – это еще не обращенная, вроде язычества, в лучшую нравственную религию сила, делающая дурно от своей неразвитой звериной природы, которая не понимает, что она делает дурно. Если бы удалось между добром и злом провести черту, то вышло бы, что часть людей эту черту переступила, а часть еще нет, но все направлены в одну сторону – к добру. И с каждым поколением число переступивших увеличивается.

Что затем произошло, понять нельзя. Кто напугал их, уже переступивших черту и вкусивших добра, почему они повернули назад? Не сразу и не валом, но повернули. Движение через черту делалось двусторонним, люди принялись прогуливаться туда и

обратно, по-приятельски пристраиваясь то к одной компании, то к другой, и растерли, затоптали разделяющую границу. Добро и зло перемешались. Добро в чистом виде превратилось в слабость, зло – в силу.

Что такое теперь хороший или плохой человек? А ничего. Устаревшие слова, оставшиеся в языке как воспоминание о дедовских временах, когда с простотой и наивностью человека оценивали по его душевным жестам, по способности или неспособности чувствовать, как свое собственное, чужое страдание. В житейской же практике уже тот ныне хороший человек, кто не делает зла, кто без спросу ни во что не вмешивается и ничему не мешает. Не естественная склонность к добру стала мерилom хорошего человека, а избранное удобное положение между добром и злом, постоянная и уравновешенная температура души. «Хата с краю» с окнами на две стороны перебралась в центр.

Что прежде творилось по неразумению, сделалось искусом просвещенного ума. От чего веками уходили, к тому и пришли. Не пришли, а скоренько подъехали на моторе, объявив величайшей победой человека то именно, что уходили пешком, а подъехали на моторе.

Так вот, о достатке. Есть достаток, и даже не маленький, а все не живет человеку с уверенностью ни в сегодняшнем, ни в завтрашнем дне, все словно бы бьет его озноб, и озирается он беспокойно по сторонам. Не весь, стало быть, достаток, чего-то недостает. Себя, что ли, недостает – каким мог он быть при лучшем исходе, и эта разница между тем, чем стал человек и чем мог он быть, взывает с него за каждый шаг отклонения.

В долгих и обрывистых раздумьях перебирая жизнь во всем ее распахе и обороте, пришел Иван Петрович к одному итогу. Чтобы человеку чувствовать себя в жизни сносно, нужно быть дома. Вот: дома. Поперед всего – дома, а не на постое, в себе, в своем собственном внутреннем хозяйстве, где все имеет определенное, издавна заведенное место и службу. Затем дома – в избе, на квартире, откуда с одной стороны уходишь на работу, и с другой – в себя. И дома – на родной земле.

И нигде не получалось у него быть дома. На земле – что не затоплено, то опорожнено лесозаготовками, и ни заботы этой земле, ни привета. В себе полный тарарам, как на разбитом и переворошенном возу. А коль нет приюта ни там, ни там, не будет его, как ни старайся, и посредине.

– Уезжаешь, значит? – спросил Афоня, вместе с которым вышли после работы из гаража. Слух уж прошел, что подал Иван Петрович заявление.

– Уезжаю.

– И что там, куда едешь?

– Хлебушко. Пашут, сеют, а уж после убирают. Помнишь, как в Егоровке было?

– А заработки как?

– Поменьше, наверно. Но мне теперь много не надо. Не то спрашивал Афоня и не то отвечал ему Иван Петрович. Не то. Пока не сказал Афоня:

– Ты уедешь, я уеду – кто останется?

– Кто-нибудь останется.

– Кто? Кто – кто-нибудь, Иван Петрович? – на последнем голосовом дожиме не сказал – простонал Афоня. – Эх!... Неужто так и бросим?! Обчистим до ниточки и бросим! И нате – берите, кому не лень!

– Устал я, Афоня. Исстервозился. Сам видишь, никакого от меня толку.

– А Егоровка?

– Что Егоровка?

Думал, скажет Афоня: в нас она, в нас. Думал, начнет говорить, что уедем мы отсюда – и будто не было ее, Егоровки нашей, никогда, а пока здесь – и память о ней живет. Потому что и сам так же рассуждал. Но сказал Афоня:

– Найдешь ты место на воде, где стояла Егоровка?

– Не знаю. Прикину – найду.

– А я вот хочу нынешним летом знак какой поставить на этом месте. Что стояла тут

Егоровка, работницей была не последней, на матушку-Россию работала.

– Как же ты поставишь? Кто тебе позволит?

– А кто мне запретит? Нету такого запрета, Иван Петрович. Не слышал, чтоб такой запрет был. Никогда не слышал. Если на земле можно, почему на воде нельзя?

Иван Петрович опомнился:

– Игрушки все это. Маленький ты, что ли, такими игрушками играть? Кому от них легче?

– Эх, Иван Петрович, – как-то свободно, но не облегченно, от горькой души, рассмеялся Афоня. – Прикинь-ка: столько игрушек кругом... может, моя не лишняя будет?

Ему надо было сворачивать в свой заулочек – он свернул.

## 17

Так оно и водится: пока без огня, тужились они с Афоней вдвоем, а налетел огонь – сбежались и люди. И густо их теперь кипело, как в котле, в последнем складе, откуда выплескивало беловатой накипью – летели без разбору мешки с мукой, с крупой и с сахаром. И все норовили туда, под жар и накал. Оно бы и не худо, хлеб же, не что иное спасают, да промелькивали среди спасателей пьяные. Одного – парня, с которым сбивали крышу, а после выкатывали масло, – Иван Петрович выхватил из пекла, когда уж он ничего не соображал. Выхватил и спустил под дорогу, где тот и пристроился с ночевой на муке. Другого, архаровца в подгоревшей телогрейке, кто-то выпихнул изнутри как мешок, и, пока валялся он среди мешков, возясь и устанавливаясь на ноги, заметил Иван Петрович на нем новые, неразношенные валенки.

Выбрасывали мешки сразу за дверь, выбрасывали лишь бы выбросить, выхватить из огня. И здесь, в двух шагах от склада, было для них не спасение. Рухнет крыша, и там же, под огнем, все и останется. Иван Петрович взялся оттащить к забору. Он уже и не взваливал на плечи, а натягивал на жидкий живот и с неловким подбегом сбрасывал под уклон. Там опять кто-то подхватывал и выносил на дорогу. И по тому, как подхватывал, косолопо загребая под бок, Иван Петрович определил, что то был однорукий Савелий.

Здоровый мужик однорукий Савелий, неизработанный и цепкий, не глядя на годы. И сегодня он ворочал и ворочал, несуетно и споро, и сильная его рука, как клешня, не срывалась, когда хватывал он мешок.

Кто-то пьяным голосом звал Ивана Петровича. Если доходил голос, значит, не из огня, значит, не горит человек, – и не оборачивается Иван Петрович. Счет теперь пошел на последние минуты.

Зачем-то ему понадобилось: что сейчас – ночь или утро? Понадобилось больше желанья упасть и отдышаться. Он вскинул глаза к горе, откуда выходит рассвет, и там, показалось ему, темь как бы сыреет, берется мутноватой влагой. Стало быть, близко к утру. С завороченными глазами он загнулся и едва не упал.

И странно: то вдруг все вокруг умолкало, и Иван Петрович оставался в полной тишине и безлюдье, то опять налетали звуки и начинали рядом метаться люди. И тогда оборванно отдавался в нем каждый крик – будто в него он и метил и в нем оседал, и тогда, не глядя, видел он весь двор с горящими теперь уже полным охватом складами, разъявленными на месте заборов сторонами и беспорядочной круговертью внутри.

В углу, где загорелось, догорало низовым жаром. Там, казалось, и было поддувало, оттуда выносило огонь на два плеча широким и загнутым коромыслом, на концах которого сквозь пламя еще протемнивали, как подвеси, крайние склады. Тот, что был на пути к магазину, мужики наполовину растаскали, там опять командовал голос Козельцова. Они наскакивали и отскакивали, наскакивали и отскакивали, их отметало раскалом как комаров.

Не гуд, не свист и не вой был тем основным звуком, с которым буйствовал огонь, а треск, могучий треск – словно выламывалось пламя из дерева и, взметываясь, распарывало небо.

И все кричали и кричали во дворе.

Валя-кладовщица требовала у Водникова комиссию, чтоб, не откладывая, сделать опись спасенного. Борис Тимофеич сорванным голосом выкашливал:

– Какая комиссия?! Очумела ты? Какая счас комиссия! Ты погляди!

– Нет, это ты погляди! – Валя выбрасывала руки и разводила их по кругу. – Тут че осталось, ты погляди! Ящики считанные были, – она показывала на штабеля из ящиков с водкой. – Шестьдесят восемь ящиков было сосчитано где они, шестьдесят восемь?!

– Пропади они пропадом, твои ящики! Кто их вытаскивал? Я не давал распоряжения, чтоб их вытаскивали! Пускай горят.

– Нет, это пропади они пропадом, твои работники! Эти ящики у меня на шее сидят!

И как плеснуло на нее, что еще сидит у нее на шее, да как сдавило каленым обручем эту тонкую шею, зарыдала опять Валя. А когда отняла она от лица руки, Водникова рядом уже не было, а топтался рядом дядя Миша Хампо, порывающийся как-нибудь пожалеть беднягу.

– Ты смотри, дядя Миша, смотри, – в десятый раз сквозь слезы попросила она и принялась подтаскивать, ей помогал дядя Миша, разваленное и разбросанное к одному табору.

В мучном складе стали покрикивать громче и дурней – без крику, без того, чтобы не понуждать и не рвануть себя, не получалось. И все чаще, выбрасывая мешки, стали задерживаться мужики – чтоб хватануть воздуха. Иван Петрович по-прежнему стоял на перевале. Ни рук и ни ног он не чувал под собой, и в загонистом темпе потерялось и не взбрыкивало больше сердце. Одно лишь помнил: взвалить, удержать и свалить, и три этих нехитрых приема, повторенные без счету, на три дыха и делили его пробежки.

Выпуская из рук мешок, в общем движущемся беспорядке он почувствовал какой-то особый вывих. И верно, как бы не увидел, а почувствовал неладное и только потом посмотрел. И опять чья-то фигура ушла дальше, чем требовал беспорядок, и уходила она к бане, уходила туда и уносила мешок. Иван Петрович спустился к дороге. На обратном ходу фигура дернулась, заметив, что ее ждут, и прибавила шагу. Не из тех был Савелий, чтобы растеряться.

– Что ж ты делаешь? – встретил его Иван Петрович. – Оголодал?

– А ты видел?

– Видел.

– Ни хрена ты не видел. Ты заявление написал. Ты теперь туда смотри, куда написал. Понял?

И опустил свою единственную, тяжелую руку на плечо Ивану Петровичу.

Почему это, когда хотят внушить что-то недоброе, хлопают по плечу.

Успели. В последнем складе подобрали все и вывалились наружу – орущие, запаленные и бешеные. Кричал диким ревом и Афоня Бронников, всегда спокойный и уравновешенный мужик, похожий сейчас на матерого дьявола: в муке, в саже и расхлобыст. Иван Петрович смотрел на них удивленно и виновато, будто он здесь стоял руки в брюки. Бухнуло чем-то внутри опорожненного склада и завывало и вырвало огонь наверх, соединяя последним прихватом весь продовольственный ряд в одно высокое ревущее горение.

Кто-то окончательно угорев, с отчаянным хрипом вырывал из себя:

Вра-гу не сда-ет-ся наш гор-дый «Ва-ряг»!

По-ща-ды ник-то не же-ла-ет!

Дядя Миша Хампо, на всякое в этой жаркой суматохе наглядевшийся, все же протер для верности глаза: двое играли в мяч. Разбитый и разлохмаченный, похожий на большой рыхлый сверток, он отлетал от ноги одного к другому, отлетал от другого и так, под пинками и бросками, зигзагами подвигался к сваленному забору. Дядя Миша оглянулся, чтобы показать, и никого поблизости не случилось. Мяч тем временем плюхнулся на забор, из него

что-то вывалилось. Не раздумывая больше, Хампо кинулся к игрокам. Один из них подхватил мяч руками, перекинул в улицу и прыгнул сам. Дядя Миша прыгнул за ним. И когда тот нагнулся, чтобы поднять, дядя Миша настиг его, опустив на воротник здоровую руку, оторвал, как ребенка, от земли и успел рассмотреть, что мячом действительно был сверток с выглядывающими веером цветными тряпками. А тот, кто подымал его, был Соня.

Хампо только-только сумел рассмотреть, кто это и что, как сбоку на него обрушился удар. Он успел перебрать руку, огрести Соню за шею и притянуть к себе. Тот завизжал по-пороссячи, норовя подпрыгами поддеть дядю Мишу на калган. И снова и снова ударили его чем-то тяжелым – не руками. Дядя Миша тянул голову, чтобы увидеть, кто бьет, но никак не мог поднять ее и только выставлял правую, не подвластную ему руку, пытаясь защититься. И все били и били его, все били и били...

Так потом и увидел их Иван Петрович: лежат на истоптанном снегу в обнимку – маленький, скрюченный в три погибели Соня и навалившийся на него с вывернутой головой дядя Миша Хампо. А в пяти шагах валяется колотушка.

## 18

Всему приходит конец. Отошла и эта страшная ночь, встало утро, и при белом свете опустился огонь вниз и приутих, устало добирая остатки. Утро встало теплое и сырое, и едкий дым, не подымаясь, обволок поселок и не сходил с него. И по берегу, и по льду темнели и чадили головешки, расквашенный грязный двор, резко очерченный с двух сторон широкой и дымящей полосой пожарища, представлял из себя что-то до жути окончательное и безнадежное. И уцелевший зелененький магазинчик ничуть не успокаивал, а добавлял, напротив, выбивающимся своим видом и горечи, и боли, и угара.

Под огромным новым брезентом так и лежало посреди двора спасенное орсовское добро. И под брезентом же лежали до сей поры не разлученные дядя Миша Хампо и Соня. И там и там стояла над брезентами охрана, никого не подпуская и не вступая в разговоры.

Ждали милиционера и следователя. Ждали комиссию – и одну, и вторую, и третью, которым теперь не будет конца... Ждали собственное начальство и высокое приездное. С первым рабочим часом во все адреса посланы были телеграммы. Оставили всякие труды, тихо было в гараже и на улицах, и ни звука не доносилось с нижнего склада. Ждали.

Ждали: что будет дальше?

...Иван Петрович, воротившись с пожара, не прилег. Печь топилась, когда он пришел, Алена и под бомбежкой не забыла бы обиходить дом, и сразу подано было на скорую, руку на стол. А подав, Алена горько-горько зарыдала и упала в кровать.

Иван Петрович посидел, посидел, не притронувшись к еде, потом переобулся, посмотрел в окно, как несет с берега дым, и вышел. Он пошел к Афоне, чтобы успеть до того, как Афоня свалится в сон. Но и Афоня не собирался ложиться. Дочь промывала и смазывала ему чем-то две глубокие, как раны, запекшиеся кровью ссадины на лбу и подбородке. Когда дочь отнимала руки, он прихлебывал из огромной металлической кружки чай.

Спросил Иван Петрович:

– Что будем делать, Афанасий? Ты знаешь, что теперь делать, нет?

– Жить будем, – морщась то ли от потревоженных ран, то ли от потревоженной души, сказал Афоня. – Тяжелое это дело, Иван Петрович, – жить на свете, а все равно... все равно надо жить.

И тоже спросил, отхлебнув из кружки:

– А ты что решил делать?

– Будем жить, – только и переставив те же самые слова другим порядком, ответил Иван Петрович.

## 19

Тихая, печальная и притаенная, будто и она страдала от ночного несчастья, лежала в рыхлом снегу земля. От горы открытым полем она полого соскальзывала вниз и за редкими сосенками переходила в лед. По горе стоял лес, из него выдвигались в поле две темные пустошки, лес чернел и впереди, куда шел от поселка Иван Петрович, но там и совсем редью, за которой начинался залив. На притыке к первой пустошке, тесня ее от дороги, положено было кладбище, куда отдавать на днях отстрадававшегося егоровского мужика и потерявшего имя безвестного горемыку. Они, люди живые, отрядят, кого куда опустить, но ей, земле, решать, ей, вынашивающей правых и виноватых, своих и чужих, собственным поставом судить, что потом из кого выйдет.

Тихо-тихо кругом – как в отстое, в котором набирается новое движение. Не достигал сюда дым из поселка, в обеднявшем приглушенном свете виделось далеко и чисто.

Отяжелевшее, несвежей белизны небо, такое же, как подтаявшее под ним поле, длинным уклоном уходило за Ангару, где садится солнце. И там темнел лес, и там неплотно.

Но уже натягивались отзывчиво, поддаваясь первому отогреву, сосенки на берегу и пригарчивал воздух, уже вязко проседал под ногами снег и отмякал дальний речной раствор. Весна отыскала и эту землю – и просыпалась земля. Устраивать ей теперь переклик, что уцелело и что отмерло, что прибавилось от людей и что убавилось, собирать уцелевшее и неотмершее в одну живую и приготавливать к выносу. Разогреется солнышко – и опять, как и каждую весну, вынесет она все свое хозяйство в зелени и цвету и представит для уговорных трудов. И не вспомнит, что не держит того уговора человек.

Никакая земля не бывает безродной.

Иван Петрович все шел и шел, уходя из поселка и, как казалось ему, из себя, все дальше и дальше вдавливаясь-вступая в обретенное одиночество. И не потому только это ощущалось одиночеством, что не было рядом с ним никого из людей, но и потому еще, что и в себе он чувствовал пустоту и однозвучность. Согласие это было или усталость, недолгая замороженность или начавшееся затвердение – как знать! – но легко, освобожденно и ровно шагало ему, будто случайно отыскал он и шаг свой и вздох, будто вынесло его наконец на верную дорогу. Пахло смолюю, но не человек в нем чуял этот запах, а что-то иное, что-то слившееся воедино со смоляным духом; стучал дятел по сухой лесине, но не дятел это стучал, а благодарно и торопливо отзывалось чему-то сердце. Издали-далеко видел он себя: идет по весенней земле маленький заблудившийся человек, отчаявшийся найти свой дом, и вот зайдет он сейчас за перелесок и скроется навсегда.

Молчит, не то встречая, не то провожая его, земля.

Молчит земля.

Что ты есть, молчаливая наша земля, доколе молчишь ты?

И разве молчишь ты?